



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

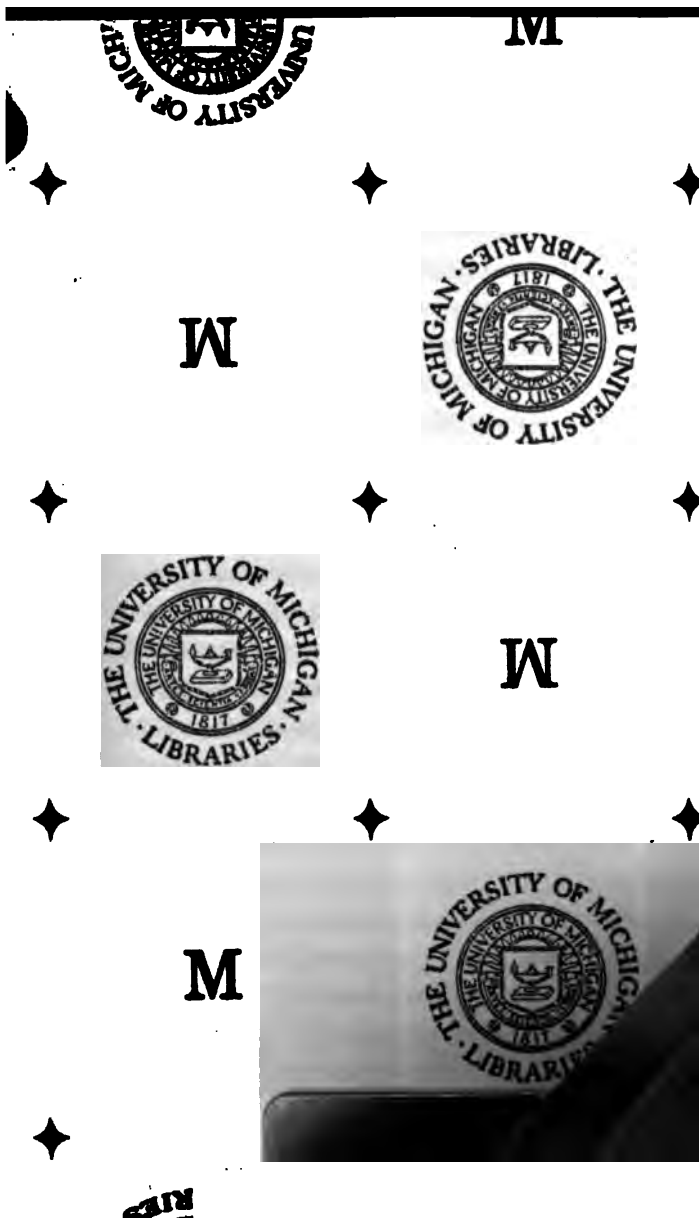
- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

A

863,601





M



M



]



M







Милиуков, Александр
Петрович

О ЧЕРКЪ

ИСТОРИИ

РУССКОЙ ПОЭЗИИ

А. МИЛЮКОВА.

Ч. 1

ТРЕТЬЕ, ДОПОЛНЕННОЕ, ИЗДАНИЕ



О. Е. Коковцова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНИЕ КНИГОПРОДАВЦА И ТИПОГРАФА М. О. ВОЛЬФА.

1864.

891.71
111638pc
1864

Дозволено ценсурою. С.-Петербургъ, 18 Мая 1864 го

Въ типографіи Роталяскаго и К^о.

успех
Ленин-Лил
629.73
1010004-293

СОДЕРЖАНІЕ.

	СТР.
ВВЕДЕНІЕ	1

ДРЕВНЯЯ ПОЭЗІЯ.

Историческія сказанія Нестора	9
Слово о Полку Игоревѣ и Сказаніе о Мамаевомъ Побойцѣ	19
Народныя пѣсни и сказки	31
Поэзія схоластическая	60

НОВАЯ ПОЭЗІЯ.

Ломоносовъ и Кантемиръ	74
Державинъ и Фонвизинъ	112
Жуковский, Батюшковъ и Крыловъ	142
Пушкинъ и Грибоѣдовъ	170
Лермонтовъ и Гоголь	222
Заключеніе	262



ВВЕДЕНИЕ ~~ВЪ~~ КОКОРЬСКОЕ

Лермонтовъ сравнилъ судьбу Россіи съ судьбою одного изъ героевъ нашихъ старинныхъ сказокъ, который тридцать лѣтъ *сидѣлъ сиднемъ*, и вдругъ, по могучему слову колдуна, очнулся и изумилъ всѣхъ своими подвигами. Въ этихъ словахъ — исторія Россіи и русской поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, что такое древняя Русь и что такое новая Россія? Одна — еще грубая, отдѣленная отъ образованнаго міра китайскою стѣною своихъ нравовъ и предразсудковъ, полная упорнаго презрѣнія ко всему иноземному; другая — юная, могучая, съ жаждою къ просвѣщенію и горячимъ сочувствіемъ къ идеямъ обще-человѣческимъ. Колоссальный образъ Петра стоитъ на рубежѣ двухъ міровъ и, подобно гиганту родосскому, соединяетъ ихъ, опираясь одной

стопою на пустынный, темный берегъ, прошедшаго, другую на новый, свѣтлый міръ будущаго.

Поэзія, какъ вѣрная картина народной жизни, полное выраженіе его духовной дѣятельности, нравовъ и обычаевъ, должна была проявить въ себѣ характеръ этихъ двухъ противоположныхъ міровъ, — и въ ней, дѣйствительно, какъ въ зеркалѣ, отразились тотъ и другой. Разсматривая древнюю нашу поэзію, видимъ слѣды неподвижно-однообразныхъ понятій, продолжительнаго сна, лишеннаго даже видѣній; обозрѣвая новую поэзію, находимъ произведенія, свидѣтельствующія о быстромъ пробужденіи духовной жизни, согрѣтыя благороднымъ чувствомъ, запечатлѣнные свѣтлыми идеями. Въ одной — едва примѣтное проявленіе духа, огрубѣлаго отъ продолжительнаго бездѣйствія; въ другой — быстрый полетъ ума и фантазій, воспрянувшихъ отъ вѣковой дремоты и озаренныхъ животворнымъ лучемъ европейскаго образованія. Такимъ образомъ, исторія нашей поэзіи, какъ и исторія политической жизни, представляя двѣ совершенно отдѣльныя картины, распадается на двѣ части: на древнюю поэ-

зію — до временъ Петра Великаго, и новую — съ эпохи преобразованія Россіи.

Что же было причиною бѣдности и продолжительнаго застоя нашей древней поэзіи и быстрыхъ успѣховъ новѣйшей?

Поэзія европейскихъ народовъ возникла изъ двухъ началъ: она или родилась отъ знакомства съ литературою древнихъ, или произстала изъ самой народной жизни. Которое же изъ этихъ двухъ началъ могло служить источникомъ поэзіи для древней Руси? Ни то, ни другое! — Войдя въ концѣ X вѣка въ тѣсную связь съ Константинополемъ, русскіе, повидимому, должны были бы скорѣе другихъ европейцевъ познакомиться съ поэзіею греческою, и черпать идеи прямо изъ этого обильнаго источника, тогда-какъ западные народы изучали древній міръ изъ литературы латинской, которая сама была прививною вѣткой, занесенною въ Римъ вмѣстѣ съ другими трофеями. Но вышло иначе. Сближеніе съ Константинополемъ открыло русскимъ доступъ къ византійской литературѣ, которая заключалась тогда въ сухихъ, лишенныхъ всякой поэзіи хроникахъ, въ изысканномъ и надутымъ краснорѣчіи, и отличалась глубо-

кимъ презрѣніемъ ко всему, что только касалось языческаго міра, а слѣдовательно и древней греческой поэзіи. И съ этою-то литературой сдружились русскіе на первомъ шагу къ образованію. А потому связи съ Греціею и знакомство съ греческимъ языкомъ нисколько не послужили къ усвоенію поэзіи древней Эллады, и еще удалили всякую возможность къ сближенію съ ней. Хотя у насъ и знали о существованіи Гомера ¹⁾, но поэзія древнихъ, какъ памятникъ язычества, считалась *еретическимъ мнѣніемъ*, не только ничтожнымъ и бесполезнымъ, но даже опаснымъ и вреднымъ. Свѣтская поэзія казалась грѣховною, ее преслѣдовали и гнали какъ язву. Знакомство съ литературой латинскою было еще невозможно: ненависть къ католицизму налагала на латинскій языкъ печать отверженія. Оставалось русской поэзіи развиваться изъ собственныхъ началъ жизни. Но могло ли быть значительнымъ это развитіе?... Удѣльная система, необходимая для сплоченія въ одно цѣлое разнородныхъ элементовъ нашего государства, въ то же время была пагубна, лишивъ его послѣдняго участія въ судьбахъ ~~человѣчества~~ и заключивъ всю жизнь его въ

тѣсныхъ предѣлахъ внутреннихъ смуть и разбоевъ. Отчужденная отъ образованнаго міра, Россія вскорѣ назначена была провидѣніемъ въ число очистительныхъ жертвъ для спасенія Европы отъ нашествія варваровъ и корана, и отдѣленная отъ нея нравами и религіею, она не слыхала ни одного слова утѣшенія. Правда, на сѣверѣ былъ уголокъ, гдѣ проявлялось что-то подобное народной жизни. Почти незнакомый съ татарскимъ игомъ и удѣльными смутами, Новгородъ одинъ былъ въ связи съ Европою; но, къ несчастію, византійское вліяніе препятствовало и тамъ полному развитію поэзіи. Впрочемъ, есть причины думать, что лучшія изъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ принадлежать Новгороду. Могла ли, при такихъ обстоятельствахъ, возникнуть у насъ поэзія изъ самой жизни, когда эта жизнь, пораженная еще въ самомъ началѣ, принуждена была столько вѣковъ таиться подъ ледяной корою, не согрѣваемая образованіемъ; когда все было неподвижно и мертво, отъ одежды до мысли, когда отецъ вмѣстѣ съ кафтаномъ завѣщалъ сыну и помятія, доставшіяся ему отъ дѣда, когда бабушка передавала внуку своей наслѣдствен-

ный сарафанъ и свое наслѣдственное невѣжество.

Такимъ образомъ, пагубное вліяніе литературы византійской мѣшало намъ познакомиться съ древними; а несчастныя обстоятельства, въ которыя Россія поставлена была сближеніемъ съ Греціею, удѣльною системою и монгольскимъ порабощеніемъ, подавили въ ней самобытное развитіе народнаго духа. Погруженная въ продолжительный сонъ, русская жизнь не могла проснуться безъ сильнаго потрясенія. Ни призывъ иностранцевъ при Іоаннѣ III, ни просвѣщенныя идеи Годунова, ни сближеніе съ Польшею въ началѣ XVII вѣка, ни кіевская и московская академіи, — не въ состояніи были потрясти народный духъ и пробудить умственную дѣятельность. Нужны были геніальный умъ, могучая рука и желѣзная воля, чтобы расшевелить спавшаго богатыря и заставить его сознать свои силы. Явился Петръ. Быстро потрясъ онъ народъ свой, вывелъ изъ темницы, гдѣ столько вѣковъ погрязалъ онъ въ бездѣйствіи, — и Россія твердыми шагами пошла по пути къ образованію и славѣ. Начало этой новой жизни, полной духовною дѣятельностію, было

и началомъ новой поэзіи. Разумѣется, эта поэзія, какъ и самая жизнь, не могла получить характера самобытнаго, а заключилась въ одномъ усвоеніи чужихъ идей и формъ, въ одномъ непрерывномъ приобрѣтеніи того, что было утрачено во время продолжительнаго застоя.

Ясно, что характеръ древней нашей поэзіи не могъ имѣть ничего общаго съ характеромъ новой, потому что одна выражала постоянный застой неподвижныхъ идей, а другая непрерывный прогрессъ быстрого развитія. До Петра Великаго все безжизненно: литературные памятники XVII вѣка не только не превосходятъ древнѣйшія произведенія поэзіи, но во многомъ уступаютъ имъ. Напротивъ, со временъ Петра все кипитъ жизнію: идеи Каптемира нисколько не сходны съ идеями Симеона Полоцкаго, Державинъ, кажется, цѣлымъ вѣкомъ отдѣленъ отъ эпохи Ломоносова, а поэзія Пушкина шагнула неизмѣримо далеко отъ поэзіи Державина. Не значить ли это, что вѣковая неподвижность древней Руси составляетъ совершенно отдѣльную картину отъ кипучей дѣятельности новой Россіи? Исторія древней нашей поэзіи показываетъ, что

русскій человѣкъ восемь вѣковъ находился въ неподвижномъ положеніи куколки, и можетъ быть долго еще остался бы неподвижнымъ, еслибы не повѣяло на него теплое дыханіе европейскаго образованія; изъ новой поэзіи видимъ, что тѣсная кокона распалась, мотылекъ отростилъ крылья и готовъ порхнуть въ тотъ свѣтлый міръ, гдѣ живутъ его собраты, ранѣе освѣщенные и согрѣтые божественнымъ лучемъ образованія.



ДРЕВНЯЯ РУССКАЯ ПОЭЗІЯ.

I.

Историческія сказанія Нестора.

Не смотря на мнѣніе славянофиловъ, которые стараются доказать, что Русское государство возникло совсѣмъ не подъ вліяніемъ норманновъ, нельзя, однакожь, не видѣть въ первыхъ временахъ нашей исторіи, въ теченіи IX и X вѣковъ, характера чисто скандинавскаго. Весь языческій періодъ, какъ изображаетъ его первый нашъ лѣтописецъ, носитъ самый яркій отпечатокъ вліянія сѣверныхъ героевъ. Основаніе государства на берегахъ Волхова, связаннаго естественнымъ

воднымъ сообщеніемъ съ Балтійскимъ моремъ, постоянное стремленіе первыхъ князей на югъ, перенесеніе столицы сперва въ Кіевъ, потомъ въ Переяславецъ на Дунаѣ, непрерывные морскіе походы къ Константинополю, — свидѣтельствуютъ, какое направленіе имѣла въ этомъ краю жизненная дѣятельность. Не входя въ этимологическіе споры, не лучше ли обратить вниманіе на самый характеръ тогдашней жизни! Кто, кромѣ скандинавскихъ смѣльчаковъ, былъ въ то время въ состояніи предпринимать походы на лодкахъ къ столицѣ Греческой имперіи? Кто могъ отважиться на такое предпріятіе, кромѣ норманновъ, которые, наводнивъ своими воинственными толпами западные берега Европы, естественно должны были попытаться открыть новый путь, чрезъ земли славянскія, къ тому городу, который славился баснословными богатствами и составлялъ постоянную цѣль грабительскихъ набѣговъ? Поселеніе варяговъ въ Новгородѣ и Кіевѣ не могло ли быть однимъ только становищемъ для открытія постоянного сообщенія, черезъ славянскія земли, съ Чернымъ моремъ, до тѣхъ поръ какъ долгое время пребываніе въ степной с

ронѣ и греческій огонь, отучивъ пришельцевъ отъ моря, заставили смотрѣть на Русь какъ на отечество; а принятіе христіанской вѣры, связавъ ихъ братскими узами съ Царьградомъ, вовсе погасило страсть къ его завоеванію.

Сличеніе древнѣйшихъ памятниковъ нашей литературы съ памятниками поэзіи скандинавской еще болѣе показываетъ, что языческій періодъ нашей исторіи носитъ на себѣ печать норманнскаго вліянія. Одинъ и тотъ же духъ отваги и геройства служитъ основою подвиговъ витязей, описываемыхъ Несторомъ и исландскими лѣтописцами. Въ древнѣйшихъ памятникахъ нашей литературы есть мѣста, разительно-сходныя съ извѣстіями сѣверныхъ историковъ и поэтовъ. Сказаніе Нестора о смерти Олега и рассказъ одной исландской саги о кончинѣ конунга Орварда Одда ²⁾, повѣсть о соженіи древлянскихъ пословъ въ банѣ, по приказанію Ольги, и преданіе о подобномъ же поступкѣ одной норвежской королевы, — безъ сомнѣнія возникли изъ одного источника. Эймундова сага и княженіе Ярослава въ несторовой лѣтописи — составляютъ одну и ту же историческую повѣсть.

Сказанія Нестора, относящіяся къ языческому періоду русской исторіи, разсматриваемыя съ литературной точки зрѣнія, представляютъ собраніе историческихъ повѣстей и поэтическихъ легендъ ³⁾. Конечно, русскій монахъ XI столѣтія, налитанный чтеніемъ византійскихъ писателей, не могъ передать вполне преданій народа языческаго, порожденныхъ вѣковою дѣятельною жизнію героевъ скандинавскихъ. Онъ не могъ сочувствовать поэтической сторонѣ ихъ подвиговъ, и смотрѣлъ на нихъ какъ сухой лѣтописецъ и ревностный противникъ язычества. Но не смотря на презрѣніе Нестора къ древнему, до-христіанскому міру, не смотря на безжизненность и надутость разсказа, въ лѣтописи его встрѣчаются мѣста, которыя неоспоримо свидѣтельствуютъ о существованіи древнѣйшей, хотя и грубой поэзіи, начинавшей возникать у насъ подъ вліяніемъ скандинавскаго міра. Рядъ сказаній Нестора, отъ призванія Рюрика до гибели Святополка, составляетъ какъ будто отрывки изъ утраченной поэмы, и походитъ болѣе на литературный, чѣмъ на историческій памятникъ. Это дань, принесенная отъ монаха языческимъ

преданіямъ, еще не совсѣмъ изгладившимся изъ памяти. Одинъ общій характеръ героизма и поэзіи отличаетъ всѣ эти повѣсти, въ которыхъ время обнимаетъ цѣлые полтора вѣка, а мѣсто дѣйствія простирается отъ Балтійскаго моря до цареградскаго Золотаго Рога. Смерть Аскольда и Дира, походъ Олега къ Константинополю и чудная его кончина, мщеніе Ольги надъ древлянами, битва при Овручѣ и смерть Ярополка, осада Кіева печенѣгами и спасеніе его Претичемъ, неудачная месть Рогнѣды и ея прощеніе, подвиги Святослава и исторія Святополка, — вотъ важнѣйшіе эпизоды этой древней поэмы. И какія лица являются въ ней: Олегъ, приближающій къ воротамъ изумленной Византіи побѣдоносный щитъ свой, Ольга, принимающая въ стѣнахъ ея крещеніе, Рогнѣда, трепещущая при мысли быть женою *рабынича* и готовая на месть убійцѣ своего отца и братьевъ, и наконецъ Святославъ и Святополкъ!

Жизнь Святослава составляетъ у Нестора занимательную и поэтическую повѣсть. Яркими чертами обрисовалъ онъ этого Ахилла нашей баснословной древности, — съ той ми-

нуты, когда еще малюткою выѣзжаетъ (на конѣ передъ рядами русскаго войска слабою рукою бросаетъ копье въ непріятеля до той ужасной развязки, когда обдѣланъ въ золото черепъ героя, падшаго въ бою многочисленными врагами, служить имъ шею на пиршествахъ. Сколько поэзіи въ подгахъ этого витязя, который всю жизнь проводилъ на ратномъ полѣ, *ходя аки пардъ*, никогда не нападалъ на враговъ, не сказавъ напередъ—*иду на васъ*,—который прпочиталъ простой мечъ всѣмъ дарамъ Імисхія и, сражаясь съ многочисленными пками грековъ, говорилъ своимъ воинамъ *даже мѣ кости ми, мертви срама не иму*. Такое лицо достойно было воспламенена поэта. И Несторъ, не смотря на свою невесту къ языческимъ князьямъ, и въ особенности къ Святославу, который *не принимаво уши* просьбъ матери о крещеніи, не смотря на обычную сухость изложенія и напыщенность языка, — написалъ повѣсть, полную интереса и поэзіи.

Но еще любопытнѣе сказаніе о *Святополѣ Окаянномъ*. Здѣсь представляется случай оинить Нестора съ литературной точки зрѣні

Жизнь и смерть Святополка составляютъ важнѣйшую часть *Эймундовой Саги*, собранной въ XIII вѣкѣ изъ древнихъ исландскихъ преданій,—и сравненіе этой саги съ сказаніемъ Нестора послужить доказательствомъ скандинавскаго источника нашей древней поэзи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, превосходства русскаго повѣствователя предъ исландскимъ.

Въ сагѣ разсказывается эта повѣсть такимъ образомъ. Конунгъ Бурислейфъ (такъ именуется въ сагѣ Святополкъ) потребовалъ отъ конунга Ярислейфа уступки нѣсколькихъ деревень и торговищъ,—и тотъ, не желая отдать ихъ, началъ съ нимъ войну. Непріатели встрѣтились, и норманны, служившіе въ войскѣ Ярислейфа, зайдя въ тылъ враговъ, обратили ихъ въ бѣгство. Наконецъ, послѣ нѣсколькихъ нерѣшительныхъ сраженій, предводитель норманновъ, Эймундъ, проникаетъ въ станъ Бурислейфа, переодѣтый нищимъ и, пробравшись въ палатку конунга, умерщвляетъ его.

Несторъ описываетъ эти событія иначе. Святополкъ, рѣшившись по смерти Владиміра овладѣть престоломъ и распространить свои владѣнія, посылаетъ умертвить братьевъ,—и трое изъ нихъ падаютъ подъ ножами убійцъ.

Но судьба посылаетъ ему мстителя въ лицѣ четвертаго брата, Ярослава новгородскаго. Оба войска сходятся на берегахъ Днѣпра и храбрость новгородцевъ рѣшаетъ судьбу сраженія. Послѣ различныхъ перемѣнъ счастья, враги встрѣчаются на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ умерщвленъ одинъ изъ братьевъ Святополка. Ярославъ всходитъ на могилу и принесъ молитву къ небу о ниспосланіи мщени на главу *Каина*, приказываетъ начать сраженіе. Битва открывается съ несслыханнымъ ожесточеніемъ, но когда ангелы небесныя являються на помощь мстителю, Святополкъ обращается въ бѣгство. Наказаніе божіе преслѣдуетъ братоубійцу:

«Бѣжащу ему, нападе на него бѣсъ, и разслабѣши кости его, не можаше сидѣти, и несяхуть его на носилѣхъ».

Гонимый подобно Каину проклятіемъ, преслѣдуемый привидѣніями, Святополкъ бѣжитъ изъ одной страны въ другую и, не находя ни гдѣ покоя, погибаетъ наконецъ въ отдаленной пустынѣ. «Есть же — прибавляетъ лѣтописецъ—могила его въ пустыни и до сего дни исходитъ же отъ нея смрадъ золь».

Изъ этого сравненія видно, что Несторъ

не смотря на односторонній взглядъ, не смотря на примѣсъ, которою портитъ драму этого событія, превосходить рассказчика есландскаго и мыслью, хотя недостаточно выказанною, и развитіемъ подробностей, полныхъ жизни и поэзіи. Какъ ничтоженъ Эймундъ въ сравненіи съ лицами, изображенными Несторомъ! Съ какою истинной и какъ поэтически представленъ этотъ Святополкъ, сынъ греческой черницы, какъ бы зачатый въ грѣхѣ и проклятый съ самой минуты незаконнаго рожденія, — этотъ честолюбецъ, достигающій престола братоубійствомъ, наказанный братомъ-мстителемъ на самомъ мѣстѣ злодѣянія, преслѣдуемый привидѣніями и погибающій наконецъ въ пустынѣ! Не знаемъ, до какой степени эта повѣсть вѣрна исторіи, но смотря на нее какъ на литературное произведеніе, нельзя не замѣтить въ ней драматической истины и даже анализа въ подробностяхъ.

Въ этихъ сказаніяхъ Нестора видимъ тотъ героическій вѣкъ, когда слава и честь были извѣстны нашимъ предкамъ, когда князья ихъ, отправляясь на войну, посылали предувѣдомить о томъ непріятелей, когда, заключая до-

говоръ съ императорами, русскіе повторяли что кто не сдержитъ обѣщанія, тотъ *да будеть рабъ во весь вѣкъ*, считая это величайшею клятвою. Сквозь простодушный рассказъ монаха, нельзя не замѣтить, какъ много поэтическихъ началъ таилось въ этой жизни, не успѣвшей достигнуть зрѣлости и въ самомъ началѣ пораженной мертвящимъ оцѣпенѣніемъ. Какіе богатые плоды могла принести она, еслибы не получила другаго направленія, совершенно чуждаго поэзіи и положившаго преграды ея развитію!

II.

Слово о Полеу Игоревѣ

и

Сказаніе о Мамаевомъ Побойщѣ.

Духъ, занесенный къ намъ норманнами, нескоро могъ истребиться. Хотя вмѣсто щита олегова на стѣнахъ Царьграда и славныхъ войнъ Святослава съ греками, явились мелкіе споры, жалкія интриги и ничтожные подвиги буйнаго удалства, вмѣсто скандинавскихъ пѣсенъ, полныхъ благородства и доблестей, начали появляться сочиненія въ духѣ безплодной византійской схоластики, — однако сѣмена, брошенные норманнами въ русское общество, не могли скоро исчезнуть. Такъ поле, засѣянное однажды хлѣбомъ, даетъ, послѣ новой перепашки подъ другія растенія, нѣсколько колосьевъ отъ сѣмянъ, уцѣлѣвшихъ въ почвѣ. Народъ долго не могъ забыть тѣхъ

*

подвиговъ, которые совершалъ онъ при своихъ воинственныхъ князяхъ; еще въ ушахъ его—говоря словами древняго поэта—*звенѣла прадѣдная слава*. Это доказываетъ Несторъ, у котораго даже въ сухой лѣтописи встрѣчаются мѣста поэтическія.

Но еще лучшимъ свидѣтельствомъ тому служить древнее стихотвореніе, извѣстное подъ названіемъ *Слова о Полку Игоревѣ*, написанное, какъ полагаютъ, въ концѣ XII столѣтія. Это стихотвореніе, исполненное красотъ, проникнутое благороднымъ героизмомъ, хотя не можетъ стать на ряду съ историческими сказаніями Нестора, по своему бѣдному содержанію и отсутствію характеровъ, подобныхъ Святославу или Святополку, — но по чисто поэтической формѣ, мастерскому разсказу и прекрасному, одушевленному языку, составляетъ самый замѣчательный поэтическій памятникъ древней Руси. Разумѣется, здѣсь не можетъ быть никакого сравненія съ произведеніями классическихъ литературъ; не смотря на то, Слово о Полку Игоревѣ блистаетъ единственнымъ перломъ въ исторіи нашей древней поэзіи. Можетъ быть существовали и другія современные ему сочиненія,

но они не дошли до насъ; а уцѣлѣвшіе памятники послѣдующихъ вѣковъ показываютъ, что поэзія постепенно приходила въ упадокъ. Тогда начали появляться повѣсти: *О нашествіи злочестиваго царя Батые на Русскую землю, О князѣ Александрѣ Ярославичѣ, О убіеніи князя Михаила тверскаго въ ордѣ отъ царя Озбѣка*. Эти историческія сказанія обнаруживаютъ совершенное ослабленіе народнаго духа и поэзіи, въ слѣдствіе измѣненія общественной жизни и понятій въ тѣ бѣдственныя времена, когда *стѣлись и ковались крамолы и росли усобицы*. Наконецъ въ исходѣ XIV вѣка появилось *Сказаніе о Мамаевомъ Побоищѣ*. Изъ нѣкоторыхъ мѣстъ этого сочиненія видно, что авторъ его зналъ Слово о Полку Игоревѣ и часто подражалъ ему. Это подаетъ поводъ разобратить оба произведенія вмѣстѣ и, изъ сравненія ихъ, показать измѣненіе народной жизни и поэзіи въ теченіе двухъ вѣковъ, разделяющихъ обоихъ писателей. Это сравненіе тѣмъ болѣе удобно, что содержаніе обоихъ сочиненій одно и то же, — походъ на Донъ противъ половцевъ и татаръ.

Содержаніе *Слова о Полку Игоревѣ* составляетъ походъ князей Игоря новгородъ-

сѣверскаго и Всеволода курскаго на половцевъ въ 1185 году. Желая обуздать дерзость варваровъ, опустошавшихъ Россію, юные князья *вступаютъ въ злато стремя* и идутъ *преломить копье за Русскую землю*. Ихъ воины полны мужества и отваги: они идутъ, *ищущи себѣ чести, а князю славы*. Приблизясь къ Дону, русскіе встрѣчаютъ непріятелей и, *потопташа поганья плѣкы половецкыя*, пускаются далѣе съ богатою добычею. Но половцы, узнавъ о походѣ смѣлыхъ князей, стекаются *отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ*. Начинается новая битва на берегу Каялы. *Яръ-туръ* Всеволодъ оказываетъ чудеса храбрости: гдѣ только ни является онъ, *своимъ златымъ шоломомъ поспѣчивая*, тамъ *лежатъ поганья головы половецкія*. Три дня продолжается сраженіе, но многолюдство враговъ превозмогаетъ, и братья-герои попадаютъ въ плѣнъ. Пѣвецъ обращается къ сильнѣйшимъ изъ современныхъ князей, напоминаетъ имъ о славѣ предковъ, умоляетъ забыть крामолы, вооружиться общими силами и отмстить

За землю Русскую,
За раны Игоревы, бугега Святъславича.

Наконецъ удалой Игорь успѣваетъ убѣжать изъ плѣна и преодолеваетъ всѣ трудности въ степяхъ, *поскоча горностаемъ къ тростію, и бѣлымъ ноголемъ на воду, полетѣ соколомъ подъ млами*. Онъ достигаетъ благополучно *отня злата стола*, и вся Русь торжествуетъ ликованіемъ и пѣснями спасеніе того, кто сражался за ея спокойствіе. Пѣсня оканчивается хвалою князьямъ и ихъ вѣрной дружинѣ.

Содержаніе *Сказанія о Мамаевомъ Побѣдѣ* во многомъ сходно съ Словомъ о Полку Игоревѣ. Безбожный царь Мамай, *попущеніемъ божіимъ, отъ наученія діаволя*, идетъ съ многочисленнымъ войскомъ *казнити улусъ свой*, Россію, и *присяжника своего*, князя московскаго. Дмитрій Іоанновичъ, получа извѣстіе объ этомъ грозномъ походѣ, отправляется къ митрополиту Кипріану за совѣтомъ:

«Вѣси ли, отче-господине, — говоритъ онъ преосвященному — настоящую бѣду на насъ, яко царь Мамай идетъ на насъ въ неукротимѣ образѣ и ярости?»

Преосвященный же митрополитъ Кипріанъ рече великому князю Дмитрію: «Повѣждь ми, господине, чѣмъ еси не исправился къ нему?»

Князь же великій Дмитрій Ивановичъ рече: «Исправилъ бо ся, отче, всѣмъ до велика къ нему, по уставу отецъ своихъ, но еще и болѣе того воздахъ ему».

Преосвященный же митрополитъ рече великому князю: «Видиши ли, господине, попущеніемъ божіимъ, нашихъ ради грѣховъ, идетъ илѣняти въ Русскую землю. Но вамъ подобаетъ, русскимъ княземъ, тѣхъ утолити ради крестьянскаго роду четверницею сугубою, дабы не разрушилъ христовы вѣры. Аще ли не смирится, то Господь гордымъ противится, писано есть, а смиреннымъ благодать даетъ. Нынѣ же возьми, господине, злата, koliko имаеши, и пошли къ нему исправися ему».

Облегчивъ душу этой *свѣтлой бесѣдою*, Дмитрій отправляетъ, по совѣту святителя, богатые дары для умилоствленія Мамая; но узнавъ, что ханъ не думаетъ отступать, онъ сзываетъ князей и даетъ обѣтъ *за вѣру христіанскую умерети*. Получивъ благословеніе и двухъ воиновъ-монаховъ отъ св. Сергія, обойдя всѣ соборы, припавъ съ молитвою слезною къ чудотворнымъ иконамъ, поклонившись ракамъ угодниковъ и гробамъ прародителей, великій князь выступаетъ въ походъ. Воины русскіе, принявъ благословеніе духовенства, идутъ *сложить головы за вѣру христіанскую и за обиду государя*. Князя переправляютъ войско за Донъ, чтобъ отнять возможность къ отступленію, и русскіе вступаютъ на Куликово-поле. Въ ночь, предшествующую битвѣ, Дмитрій обѣзжаетъ

съ литовскимъ воеводою Волинцемъ свой станъ, — и Волинецъ предсказываетъ ему побѣду. Настаетъ день битвы. При восходѣ солнца великій князь, принеся теплую молитву ко Господу и вкусивъ присланной ему отъ св. Сергія просвиры, приказываетъ начать сраженіе. Оба войска сходятся, и начинается битва, описаніе которой взято совершенно изъ Слова о Полку Игоревѣ. Наконецъ участь сраженія рѣшается святою помощію угодниковъ Бориса и Глѣба, поразившихъ татаръ *объ-онѣ страну рѣки Непрядвы, идѣже не быша русскіе полки*. Мамай обращается въ бѣгство, — и авторъ заключаетъ сказаніе хвалою Богу за столь блестящую побѣду, дарованную русскимъ.

Сравнивая эти два сочиненія, нельзя не замѣтить съ перваго взгляда большого сходства въ содержаніи, которое ~~произошло~~ ^{произошло} какъ отъ сходства самыхъ событій, такъ и отъ видимаго подражанія. Въ томъ и другомъ сочиненіи описывается битва русскихъ съ врагами отечества. Но если мы вспомнимъ, что походъ Игоря на половцевъ совсѣмъ не имѣлъ для Россіи такого значенія, какъ походъ Дмитрія, что тамъ дѣло шло только

объ удачномъ наѣздѣ на землю половцевъ въ отмщеніе за ихъ набѣги, а здѣсь о судьбѣ цѣлой Россіи, о ея политическомъ существованіи и народной независимости; то нельзя не видѣть, что содержаніе Сказанія о Мамаевомъ Побоищѣ имѣетъ несравненно болѣе значенія и интереса, нежели содержаніе Слова о Полку Игоревѣ. Битва куликовская, какъ первая попытка сорвать тяжкія цѣпи рабства, была величайшимъ событіемъ нашей древней исторіи и могла служить предметомъ для поэтическихъ созданій. Но что сдѣлалъ изъ нея авторъ сказанія? По духу, которымъ проникнуты оба сочиненія, тотчасъ можно видѣть все превосходство Слова о Полку Игоревѣ и всю ничтожность Сказанія о Мамаевомъ Побоищѣ. Первая повѣсть есть чисто поэтическое произведеніе, вторая — слабое подражаніе ей, которое то сбивается на сухой рассказъ лѣтописи, то напоминаетъ духовныя поученія. Какая разница въ характерѣ того и другаго сочиненія! Не смотря на то, что въ Словѣ о Полку Игоревѣ описывается пораженіе и плѣнъ русскихъ, а въ Сказаніи о Мамаевомъ Побоищѣ побѣда и торжество ихъ, въ первомъ мы видимъ героевъ, во-

торыхъ сердца въ жесточѣмъ харалузѣ скованы и въ буести закалены, которымъ легко Вому веслами раскропнати, а Донъ шеломами вымѣяти, — а во второмъ находимъ унылую нерѣшительность людей, продолжительнымъ рабствомъ приученныхъ къ унизительному терпѣнію. Изъ перваго сочиненія мы заключаемъ, что русскимъ XII вѣка знакома была слава и честь, что они помнили еще геройскія дѣла своихъ предковъ и вѣкъ *старога Владиміра*, а въ другомъ — замѣчаемъ пагубное вліяніе событій, протекшихъ между тѣмъ и другимъ временемъ. Какая разница въ рѣчахъ Игоря и Дмитрія! Одинъ зоветъ своихъ воиновъ *позрити снѣга Дону*, и говоритъ, что *мужезъ потяту быти, неже полонену быти*; другой приступаетъ къ великому подвигу съ нерѣшительностію чело-вѣка, не увѣреннаго въ своихъ силахъ и важности дѣла; одинъ идетъ на войну за родину, какъ на пиръ, другой страшится ея и называетъ злою вещью.

Сличеніе сходныхъ мѣстъ въ обоихъ сочиненіяхъ показываетъ вмѣстѣ и упадокъ поэзіи въ XIV вѣкѣ, и неумѣстность подражанія героической пѣснѣ въ то время, когда

о поэзіи; напротивъ авторъ повѣсти о куликовской битвѣ явно подражалъ Слову о Полку Игоревѣ и всячески старался представить походъ Димитрія въ возможно лучшихъ и яркихъ краскахъ. Причина тому очевидна: если въ общественной жизни есть начала, благоприятныя поэзіи, то они невольно пробиваются живымъ ключемъ сквозь самыя сухія произведенія писателя; когда же нѣтъ этихъ началъ, когда общество холодно и мертво, когда ему чужды высокія стремленія, то всѣ усилія извлечь изъ его жизни что-нибудь поэтическое остаются напрасными и не приносятъ никакого плода. Такъ пчела не добудетъ ни одной капли меду изъ засохшихъ растеній.

III.

Народныя пѣсни и сказки.

У всѣхъ народовъ, кромѣ поэзіи письменной, возникающей при извѣстной уже степени образованія и гражданственности, существуетъ другая поэзія, — народная, служащая источникомъ первой. Такъ у грековъ письменной поэзіи предшествовали пѣсни (*σχόλια*), которыя или услаждали сельскіе труды, или сопровождали игры и увеселенія, или составляли забаву въ бесѣдахъ. Такъ въ Европѣ рыцарскіе романсы распѣвались въ Испаніи до Кальдерона, англійскія и шотландскія баллады вдохновляли Шекспира и Вальтеръ-Скотта, изъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ германцевъ возникли геніальныя созданія Шиллера и Гете. Въ народной поэзіи скрываются многія причины явленій поэзіи письменной, а потому она заслуживаетъ величайшаго вниманія, какъ бы ни была груба и бесплодна.

князьяхъ, поражена была вскорѣ въ самомъ источникѣ. Русскіе не только лишились средствъ къ развитію политической жизни, но отравили и жизнь домашнюю. Теремъ, заимствованный у византійскихъ грековъ (*τέρεμνον*), поработилъ русскую женщину деспотической власти мужчины, — и та женщина, которая отъ скандинавскаго вліянія могла ожидать блистательной судьбы, знакомясь съ правами сѣверныхъ героинь, была лишена всякаго общественнаго значенія и осуждена на вѣчное затворничество. Удаленіе отъ Европы препятствовало намъ усвоить рыцарскія идеи, возродившія глубокое уваженіе къ женщинѣ, которое служило основнымъ камнемъ европейскаго общества. Теремъ, сдѣлавшись темницею женщины, лишилъ общество того благотворнаго вліянія прекраснаго пола, которое бываетъ душою нравственнаго воспитанія народа. Сближеніе съ восточными идеями при монгольскомъ нашествіи и распространеніе азійской мысли о гибели міра отъ женщины — еще болѣе утвердило ея затворничество. Мы не встрѣчаемъ уже въ исторіи лицъ подобныхъ Ольгѣ или Рогнедѣ, — а если иногда и являлись женщины

съ вліяніемъ на общество, какъ напрімѣръ Елена Глинская или Марина Мнишекъ, то это были не русскія. Такимъ образомъ, теремъ нанесъ глубокую рану народной жизни, отдѣливъ отъ общества женщину и сдѣлавъ ее рабою. Посмотрите на русскую красную дѣвицу! Сидя одиноко *въ серебряной кляточкѣ*, за *золотою стѣлочкой*, она проводила однообразную жизнь, какъ птичка, лишенная свободнаго воздуха общественной жизни, чуждая всякаго образованія. Теремъ былъ недоступнымъ святилищемъ, и его сравнивали съ небомъ, а красавицъ съ солнцемъ, мѣсяцемъ и звѣздами, столько же таинственными и неприступными. Тамъ, вышивая шелками, золотомъ и жемчугомъ, находя отраду только въ яствахъ сахарныхъ, бѣдная дѣвушка съ трепетомъ ждала того дня, когда расплетутъ ей съ плачемъ и пѣснями русую косу и поведутъ на *судъ божій*, то - есть подъ вѣнецъ съ суженымъ, назначеннымъ не волею сердца, но судьбою и родительскою властію. Дѣйствительно, замужство было для нея судомъ божіимъ, потому что отъ него зависѣла вся ея будущность. Чтò же оно обѣщало ей? давало ли возможность освободиться изъ золо-

той вѣтки и занять какое-нибудь мѣсто въ обществѣ? Нисколько!...

Она мѣняла только свою золотую клѣтку на другую, можетъ быть желѣзную, гдѣ не утѣшала ее и послѣдняя отрада, которую находила она въ родительской любви. Осужденная вести жизнь съ человѣкомъ немилымъ, совершенно незнакомымъ ей до замужества, она скоро привыкала къ его *нраву молодецкому*. И вотъ являлось ей новое утѣшеніе — шелковая плетка и побои. Не турниры, не рыцарское обожаніе, не имя царицы любви, не пѣсни менестрелей встрѣчали женщину въ нашемъ обществѣ, — но теремъ, въ которомъ, правда, не было евнуховъ, но деспотическая воля мужа и народнаго обычая держала ее въ -заперти, а плеть и побои служили единственнымъ доказательствомъ супружеской нѣжности ⁴⁾.

Что же могло быть слѣдствіемъ такого состоянія женщины, если не совершенный упадокъ общественной жизни? Развѣ мать-раба можетъ воспитать сына, не передавъ ему того же самаго характера униженія, и необходимаго его слѣдствія, необузданнаго тиранства! Женщина, обожаемая на западѣ,

воспитала человѣка, способнаго понимать прелесть общественной жизни; женщина на востокѣ, порабощенная и униженная, не могла внушить и мужчинѣ ничего, кромѣ рабскаго униженія и грубой жестокости. И посмотрите, чѣмъ сдѣлался у насъ мужчина, отнявъ свободу у женщины и лишивъ ее общественнаго значенія? Русскій добрый молодецъ, грустный, печальный въ обществѣ, лишенномъ присутствія женщины, привыкъ вымѣщать свое ничтожество на женѣ, на дѣтяхъ, привыкъ топить свое горе въ зеленѣ винѣ, которое сдѣлалось его единственной отрадою въ жизни, гдѣ онъ былъ вмѣстѣ и рабомъ и тираномъ. Такимъ образомъ, общественное униженіе женщины породило во всей народной жизни холодность, скуку, безвкусіе и грубость.

Все это высказалось, какъ нельзя лучше, въ нашихъ пѣсняхъ, — и отъ того отличительный характеръ ихъ, глубокая тоска, проникнутая сердечнымъ страданіемъ, и отчаянный разгулъ, полный самозабвенія. Въ каждомъ словѣ ихъ слышны *слезы горючія*, которыя рѣжутъ душу, какъ булатный ножъ, — видна тоска, которая падаетъ на сердце,

*какъ туманъ на сине море. Въ нихъ мать
плачетъ, какъ рѣка льется, слезы сестры
текутъ какъ ручей; сердце дѣвушки милый
другъ безъ солнца сушитъ, безъ мороза зно-
битъ, радости ея разноситъ буйный вѣтеръ
по чисту полю; добрый молодецъ въ слезахъ
родится, въ слезахъ крестится, и во всю
жизнь, какъ былинушка въ чистомъ полѣ,
шатается его безпріютная головушка. Вотъ
какъ высказывалась русская душа, глубоко
проникнутая скорбью:*

Да спасибо же тебѣ, синему кувшину,
Ты размыкалъ, разогналъ злу тоску-кручину!
Посѣдѣла-то моя буйная головушка
Ни отъ время, ни отъ дѣтъ, все отъ безвременья;
Я родился во слезахъ, во слезахъ крестился,
Плакалъ долго сиротой отъ людскихъ навітовъ;
Красна дѣвица-душа не для утѣшенья,
Все для слезъ же меня молодца полюбила;
Потухаютъ во слезахъ мои ясны очи,
Изсыхаетъ бѣла грудь съ тяжкихъ воздыханій.
Да спасибо же тебѣ синему кувшину,
Ты размыкалъ, разогналъ злу тоску-кручину!

Съ другой стороны, если въ пѣсняхъ нашихъ
вы видите русскаго человѣка въ минуту ве-
селости, то не ищите въ немъ тихаго, усла-
дительнаго веселья, которое раждается отъ
полноты душевнаго удовольствія и счастья:

вы найдете въ нихъ только буйную, дикую радость человѣка, который хочетъ забыть вѣчную печаль свою, и потопить ее въ грубомъ упоеніи. Тутъ встрѣтите вы описанія чувственныхъ наслажденій, гдѣ вино и драка не только составляютъ отраду, но считаются удальствомъ, геройствомъ. Вотъ одна изъ хороводныхъ пѣсенъ:

Ай, на горѣ мы пиво варили;
Ладо мое, ладо, пиво варили!
Мы съ этого пива всѣ вокругъ соберемся,
Мы съ этого пива всѣ разоидемся,
Мы съ этого пива всѣ присядемъ,
Мы съ этого пива спать ляжемъ,
Мы съ этого пива опять встанемъ,
Мы съ этого пива всѣ въ ладоши ударимъ,
Мы съ этого пива всѣ перепьемся;
Теперь съ этого пива всѣ передеремся;
Ладо мое, ладо, всѣ передеремся!

Замѣчательнѣе другихъ пѣсни удалыя и казацкія, порожденныя своевольною жизнію волжскихъ и донскихъ удалцевъ. Въ нихъ болѣе поэзіи... Буйная жажда воли, заставлявшая этихъ людей бросаться въ опасности, нерѣдко была источникомъ доблестныхъ дѣяній; разбойники, покорявшіе Сибирь, превращались въ героевъ, — и подвиги Ермака, походы на Амуръ и битвы съ си-

лами богдойскими воспѣваются въ казацкихъ балладахъ. Разумѣется, поэзія этихъ пѣсенъ груба, какъ самая жизнь удалцевъ, — дышетъ презрѣніемъ къ опасностямъ и смерти, отчаяннымъ, бѣшеннымъ разгуломъ, неукротимою волею человѣка, который насильно оторвалъ себя отъ общества и былъ чуждъ всякихъ понятій о гражданственности, котораго товарищами были темная ночь и булатный ножъ, который проводилъ жизнь въ дремучемъ лѣсу или на лодкѣ, начиная ее въ царевомъ кабацѣ, а оканчивая на двухъ столбахъ съ перекладиною.

Солдатскія пѣсни, образовавшіяся уже въ позднѣйшее время, имѣютъ особый характеръ. Въ нихъ нѣтъ шумнаго разгула, какимъ отличаются пѣсни разбойничьи и казацкія, но онѣ исполнены тѣмъ духомъ подчиненности, который составляетъ отличительное качество русскаго солдата, совершившаго столько чудныхъ подвиговъ самоотверженія передъ глазами изумленной Европы. Эти-то подвиги воспѣваются въ солдатскихъ пѣсняхъ. Хотя въ поэтическомъ отношеніи онѣ уступаютъ другимъ, однако и въ нихъ является иногда глубокое чувство, которое шевелитъ сердце

солдата при воспоминаніи о родной избѣ, по-
кинутой на много лѣтъ, а можетъ быть и на-
всегда, для защиты царя и вѣры православ-
ной, при мысли о родныхъ и друзьяхъ, о
милой сердцу или о молодой женѣ,—и тогда
онѣ дышать неподдѣльною поэзіею. Вотъ какъ,
проникнутый грустью при невольной разлука
съ родиной, молодой воинъ утѣшаетъ свою
любезную:

Ты не плачь, не плачь, красна дѣвица,
Не слези лица румянаго,
Не вздыхай, моя разумная!
Не одной-то, вѣдь, тебѣ тошно,
И мнѣ, молодцу, грустнехонько,
Что иду-то я на чужую сторону,
На чужодадню, незнакомую,
Что на службу я иду государеву.

Древнѣйшія изъ нашихъ пѣсенъ — хоро-
водныя, подблюдныя и свадебныя. Конечно,
онѣ дошли до насъ въ измѣненномъ видѣ и
утратили первобытный колоритъ, потому что,
хранясь въ памяти народа, эти пѣсни нико-
гда не предавались письму, и должны были
безпрестанно поновляться; но нѣтъ сомнѣнія,
что онѣ древнѣе прочихъ. Въ нихъ есть много
намёковъ на забытые языческіе обряды, хотя
и перемѣшанные уже съ повѣрьями христіан-

скими, какъ напимѣръ пѣсни колядныя, — напоминающія греческія *χελιδωνίσματα*. Въ хороводныхъ пѣсняхъ видно даже начало драматическое, которое, при другомъ общественномъ составѣ, могло обѣщать плодотворное развитіе поэзіи и можетъ-быть рожденіе народнаго театра. Нѣкоторыя пѣсни, сопровождавшіяся играми, походятъ на тѣ праздничныя пѣсни древнихъ грековъ, которыя послужили началомъ ихъ театра, и произвели въ послѣдствіи Эсхиловъ и Софокловъ. На этихъ играхъ хороводъ образовалъ сцену, гдѣ являлся добрый молодецъ съ красною дѣвицею или мужъ съ женою, и при пѣніи хора, иногда раздѣленнаго на двѣ половины, разыгрывалась какая-нибудь сцена любви или примиренія. Такъ одна изъ подобныхъ пѣсень выражала *супружескую любовь* и сопровождалась особенной игрою: въ середину круга, составленнаго изъ мужчинъ и женщинъ, выходили два лица, представлявшія мужа и жену. Хороводъ начиналъ пѣсню:

Посмотрите, добрые люди,
 Какъ жена меня, молодца, не любитъ,
 Душа, сердце мое, ненавидитъ!
 Я поѣду во Китай-городъ гуляти,
 Молодой женѣ покупку покупать:

Саму, саму предиковинну юпку,
Саму, саму предиковинну кофту.

Жена моя, женушка,
Сердитое мое сердце!
Ты постой-ка, жена,
Я примѣрю на тебя,
Я примѣрю, приложу,
Я на женушку погляжу.

Во время пѣнія этой строфы мужъ ухаживалъ за женою, предлагая ей подарки, а она отворачивалась и не слушала его. Хоръ продолжалъ:

Посмотрите, добрые люди,
Какъ жена меня, молодца не любить,
Душа, сердце мое, ненавидить!
Я поѣду во Китай-городъ гуляти,
Молодой женѣ покушку покупать:
Саму, саму предиковинну плетку.

Жена моя, женушка,
Сердитое мое сердце
Ты постой-ка, жена,
Я примѣрю на тебя.
Я примѣрю, приложу,
Я на женушку погляжу.

При этомъ мужъ вооружался кнутомъ, и тогда сцена перемѣнялась. Жена изъ гордой и неумолимой дѣлалась, какъ говорится, шоловою и начинала увиваться около мужа, осыпая его поцѣлуями. Хоръ продолжалъ:

Посмотрите, добрые люди,
Какъ жена меня, молодца, любить,
Душа, сердце мое, поцѣлуетъ!

Сказки наши отличаются тѣмъ же самымъ характеромъ какъ и пѣсни, съ тою разницею, что въ нихъ, какъ въ поэзиі эпической, требующей большаго общественнаго развитія, всѣ недостатки должны были выразиться яснѣе и еще ярче показать бесплодіе и грубость тогдашней жизни. Тамъ иногда высказывалось чувство, которое можетъ быть трогательно и глубоко у человѣка самаго необразованнаго и доступно народамъ самымъ дикимъ; здѣсь же должна говорить фантазія, — а фантазія людей, не проникнутыхъ поэтическимъ началомъ, не можетъ быть привлекательною. Русскія сказки выражаютъ это, какъ нельзя лучше. Въ нихъ нѣтъ уже и тѣхъ чувствъ, которыми проникнуты наши пѣсни, а видна только необузданная фантазія, исполненная преувеличеній и грубости. Вмѣсто героевъ мы видимъ въ нихъ чудовищныхъ исполиновъ, олицетворяющихъ одну матеріальную силу; богатырей, которые еще въ дѣтствѣ кого за руку схватятъ, у того рука прочь, кого за голову возьмутъ, у того голова долой; —

которые мечутъ въ ротъ по цѣлой ковригѣ хлѣба и запиваютъ чашею зелена вина въ юлтора ведра;—у которыхъ голова съ пивной котель, и такъ тверда, что на ней не лезелятся кудри отъ ударовъ пятидесяти-пудового *чиналища*;—у которыхъ между плечъ кладывается косая сажень, а между глазъ алена стрѣла. Героиня этихъ сказокъ— красная дѣвушка или вдовушка, съ устами жаркими, съ грудью бѣлою, лебединою— вляется, по бѣльшей части, или угнетенной вбою, или развратной чародѣйкою, соби-ающею лютыя зелья. Чудесное у нихъ ли-ено всякой граціи: видно только драконы, герегушіе сокровища, змѣи дышащіе огнемъ, мдуны, превращающія любовниковъ въ бы-эвъ золоторогихъ.

Нѣкоторыя сказки составляютъ какъ-будто гдѣльныя поэмы, напримѣръ: *Василій Бу-иасевичъ*, *Садко Богатый*, *Щелканъ Дуден-евичъ*; другія имѣютъ между собою связь похожи на эпизоды какого-то цѣлаго про-зведенія.

Особенно замѣчателенъ рядъ сказокъ, у которыхъ содержаніе относится ко временамъ ладимира I. Эти сказки могутъ быть названы

однимъ общимъ именемъ: *Пиры князя Владиміра и подвиги его богатырей*. Онѣ составляютъ рядъ эпизодовъ, имѣющихъ общее значеніе и характеръ, и должны считаться древнѣйшею русскою эпопеею и важнѣйшимъ проявленіемъ фантазіи русскаго народа. Нѣтъ сомнѣнія, что эти сказки, образовавшіяся, можетъ быть, подобно греческимъ рапсодамъ, носятъ на себѣ отпечатокъ древности, хотя и дошли до насъ не всѣ и притомъ значительно измѣненными. Въ нихъ, несмотря на невѣжественные промахи въ географіи, упоминаются только тѣ города, которые существовали при Владимірѣ, и видно сходство съ нѣкоторыми поэтическими сказаніями Нестора, какъ напримѣръ съ поединкомъ Яна Усмошвеца и печенѣжскаго богатыря. Въ этой поэмѣ являются два главные лица, *солнышко-князь Владиміръ*, герой нашей туманной древности, просвѣтитель Россіи, и *душа-княгиня Анракспевна*, вымышленная его супруга. Ихъ окружаетъ толпа могучихъ богатырей: на первомъ планѣ стоятъ Илья Муромецъ и Добрыня Никитичъ, а за ними Алеша Поповичъ, Соловей Будимировичъ, Чурила Пленковичъ и другіе. Во всѣхъ эпизо-

дахъ, съ перваго взгляда несвязныхъ и безхарактерныхъ, есть единство, которое состоитъ въ борьбѣ витязей за славнаго князя Владиміра и въ шумныхъ пирахъ въ его теремѣ. Лицо Владиміра и однообразные подвиги богатырей составляютъ невидимую связь между эпизодами, и даютъ характеръ единства всей эпопеѣ. По слову *ласкову* кіевскаго *солнышка*, богатыри сражаются съ его врагами. Въ лицѣ Тугарина Змѣевича выведены, кажется, тѣ азійскіе варвары, которые тогда безпрестанно тревожили Русь, появлялись невѣдомо откуда, исчезали неизвѣстно куда, и часто держали въ осадѣ самый Кіевъ. Змѣй-Горынчище представляетъ, вѣроятно, язычество, а въ Соловьѣ-Разбойникѣ олицетворены, можетъ быть, тѣ внутренніе злодѣи, которые — по свидѣтельству Нестора — такъ размножились при Владимірѣ, что на истребленіе ихъ посылались цѣлыя войска. Противъ этихъ-то внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ тогдашней Руси подвизаются витязи князя Владиміра.

Ясно, что историческія преданія о подвигахъ и войнахъ Владиміра Святославича послужили основою этихъ пѣсенъ, — и изъ

жаго богомольца и назначаетъ ему постыдное свиданіе.) Такимъ образомъ, восточная чувственность заклеила одно изъ главныхъ лицъ поэмы. Содержаніе ея составляютъ битвы и пиры, — что не помѣшало Гомеру создать Иліаду, — но какъ они выражены въ нашей эпопеѣ!....) Подвиги богатырей кievскихъ отличаются чудовищнымъ преувеличеніемъ: они побиваютъ безпрестанно цѣлыя непріятельскія войска, переѣзжаютъ въ два часа изъ Кіева въ Черниговъ; кони ихъ перескакиваютъ однимъ прыжкомъ черезъ рѣки въ версту шириною ⁵⁾. Вездѣ видны восточныя гиперболическія картины. Нѣкоторые эпизоды напоминаютъ даже Шахъ-Намэ Фирдеви: сраженіе Ильи Муромца съ сыномъ Збутомъ, котораго онъ не узнаетъ, встрѣтись съ нимъ на охотѣ, похоже на смерть Зораба, погибающаго въ битвѣ съ отцемъ своимъ Рустемомъ, хотя въ русской сказкѣ и нѣтъ тѣхъ блестящихъ красокъ, которыми отличается твореніе персидскаго поэта. Не должно однакожъ искать большаго сходства между Шахъ-Намэ и русскими сказками: правда, и тамъ и здѣсь мы находимъ одни и тѣ же преувеличенія и гиперболическія

картины и выраженія, — но въ поэмѣ Фирдеysi все это у мѣста, потому-что все въ духѣ нравовъ и языка и происходитъ отъ избытка поэзіи, а въ нашей эпопее показывается только преувеличеніе матеріальной силы и бѣдность умственной жизни; въ одной вы чувствуете жаръ палящаго восточнаго солнца, въ другой—головоломный паръ русской бани./

Пиршества въ теремахъ Владиміра изображены еще грубѣе битвъ. Тамъ пьяный Дунай убиваетъ при всѣхъ жену, князя и бояре, несмотря на то, что *въ полсыта на-даются, въ потьяна напиваются*, — ползаютъ *окарачъ* по терему, а Тугаринъ Змѣевичъ

Нечисто у князя за столомъ сидитъ,
Ко княгинѣ руки въ пазуху кладетъ./

Всѣ подвиги, все геройство на этихъ пирахъ состоитъ въ объяденіи и пьянствѣ. Самъ Владиміръ, принимая пріѣзжаго витязя и отпускающая своего на какой-нибудь подвигъ, вмѣсто всякой награды приказываетъ подносить ему чару зелена вина въ полтора ведра, и тотъ осушаетъ ее единымъ духомъ.

Впрочемъ, не смотря на грубость и недостатки этой поэмы, нѣкоторые эпизоды ея нечужды поэзіи, хотя и нѣтъ ни одного, ко-

торый былъ бы вполне выдержанъ: такова пѣсня о *Ставрѣ Годеновичѣ*. Мѣстами видны даже попытки на изображеніе характеровъ ⁶⁾. Илья-Муромецъ, любимый герой русскій, побѣдитель Соловья-Разбойника, освободитель Кіева, является въ поэмѣ витяземъ чести и представляетъ собою истинный типъ русскаго человѣка, сидня до поры до времени и богатыря когда расходится. (Чурила Пленковичъ, стольникъ Владиміра, изображенъ какимъ-то русскимъ, Донъ-Жуаномъ, грозою старыхъ мужей: передъ нимъ отворяются по ночамъ терема красавицъ, ему поручаетъ князь одѣвать молодыхъ женщинъ, онъ дорожитъ своей красотою и такъ бережетъ лицо отъ солнца, что скороходъ носить всегда передъ нимъ подсолнечникъ. Иногда замѣтна неподдѣльная веселость и ѣдкая насмѣшка, какъ напримѣръ поздравленіе Запавы отставному жениху Шапу:

Здравствуй! женивши, да не съ кѣмъ спать.

Но часто эта веселость и шутка является слишкомъ циническою и выходитъ изъ предѣловъ пристойности; таковы слова жены Ставра къ неузнающему ее мужу./

Вообще, наши сказки вполне выражаютъ

вмѣстѣ съ пѣснями старую русскую жизнь: онѣ грубы, но часто наивны и нечужды поэзіи, фантазія въ нихъ чудовищная, но иногда полная силы. Нерѣдко встрѣчаются мѣста, свидѣтельствующія, что подѣ грубой корою иногда скрывалась блестящая поэзія. Описаніе корабля Сокола въ одной изъ пѣсенъ о князѣ Владимірѣ, несмотря на изысканность, не лишено красоты и напоминаетъ о богатой торговлѣ русскихъ съ Греціею. Въ другой пѣснѣ — Василій Буслаевичъ встрѣчаетъ однажды въ Новгородѣ на улицѣ старика:

Стоитъ тутъ старецъ Пилигримище,
На могучихъ плечахъ держитъ колоколь,
А вѣсомъ тотъ колоколь въ триста пудъ.

Буслаевичъ ударяетъ его дубиною:

Качается старецъ, не шевельнется;
Заглянулъ онъ, Василій, старца подѣ колоколомъ,
А и во лбѣ глазъ уже вѣку нѣтъ.

Въ лицѣ этого пилигримища нельзя не узнать самого Новгорода, дряхлаго и неколебимаго старца, съ его вѣчевымъ колоколомъ. Въ нѣкоторыхъ сказкахъ видѣнъ сатирическій элементъ, хотя также грубый, но мѣткій и разительный. Такъ сказка о *Ершѣ Ершовѣ*, есть сатира на запутанныя и уто-

мительныя формы стариннаго судопроизводства, а пѣсни объ *Игумень Чурильн* — насмѣшка надъ тѣмъ ханжествомъ и лицемѣріемъ, которое, подъ личиною смиренномудрія, нерѣдко скрывало пороки и даже развратъ. X

Кромѣ пѣсенъ и сказокъ, у насъ существуютъ еще духовныя легенды, или такъ называемыя *стихи*. Происхожденіе ихъ нѣсколько отлично отъ происхожденія народныхъ пѣсенъ и сказокъ: тѣ рождены цѣлымъ народомъ, служили памятникомъ его жизни, сдѣлались всеобщимъ достояніемъ, вездѣ пѣлись и рассказывались. Стихи, напротивъ, не составляютъ самобытнаго созданія русскаго народа, но принесены къ намъ первоначально изъ Греціи и остались чуждыми народу. Въ Греціи съ давнихъ временъ существовали пѣвцы, или рапсоды, сохранившіе самыя пѣсни Иліады. По принятіи греками христіанской вѣры, они, бродя по церковнымъ праздникамъ и ярмаркамъ, пѣли духовныя пѣсни, или сочиненныя заранее, или импровизованныя. До сихъ поръ во многихъ мѣстахъ Греціи и Турціи видны эти слѣпые пилигримы, распѣвающіе духовныя легенды и даже пѣсни клефтовъ. По введеніи

въ Россію христіанской вѣры, наши *паломники* обратились на поклоненіе къ святымъ мѣстамъ Палестины и Греціи. Отправляясь на Аѳонскую гору или въ Іерусалимъ, они встрѣчали на пути толпы греческихъ рапсо-довъ и слышали ихъ духовныя пѣсни и легенды. Тогда и въ Россіи, — особенно въ Кіевѣ, средоточіи и святынѣ христіанской Руси, куда также стекались поклонники, — начинали появляться толпы русскихъ рапсо-довъ, или, лучше сказать, нищихъ, которые, сидя съ чашечками у церковныхъ папертей или на рынкахъ, распѣвали пѣсни духовнаго со-держанія, составленныя въ подражаніе грече-скимъ. Но эти пѣсни, занесенныя извнѣ, ни-когда не были потребностію всего народа, никогда не были имъ усвоены и оставались только въ памяти нищихъ. У другихъ наро-довъ подобныя пѣсни составляютъ общее до-стояніе, наравнѣ съ другими поются и подъ кровомъ хижины, и въ полѣ за земледѣль-ческими работами, какъ напримѣръ пѣсня 'Ο ἅγιος Βασίλειος въ Греціи, или легенда о святомъ Георгіи у шведовъ ⁷⁾. У насъ, напро-тивъ, *стихи* никому неизвѣстны, кромѣ ни-щихъ, и одна только пѣсня о *Бѣдномъ Ла-*

зарѣ знакома нѣсколько крестьянамъ, и то потому, что на деревенскихъ праздникахъ и сельскихъ ярмаркахъ она поется чаще другихъ, съ цѣлю возбудить слушателей къ подаванію милостыни.

Такимъ образомъ, происхожденіе этихъ легендъ совершенно не русское; а разсматривая ихъ критически, видимъ въ нихъ еще менѣе поэзіи, чѣмъ въ пѣсняхъ и сказкахъ, потому-что здѣсь не было и того одушевленія, которое возникало изъ самобытной потребности народа и окрыляло фантазію. Не смотря, однакоже, на бѣдность поэзіи, на отсутствіе творчества и недостатокъ красокъ, въ этихъ легендахъ замѣтны изрѣдка слѣды того же народа, который является намъ въ пѣсняхъ и сказкахъ, — народа долго страдавшаго, *бѣднаго и гонимаго Лазаря*, который, не находя утѣшенія въ бѣдственной жизни, полагался только на вознагражденіе въ будущемъ, на *Господа Бога* и его *праведный судъ*. Бѣднякъ, терпя угнетенія, ждалъ того часа, когда ангелы небесные, приведя душу его *къ свѣтлому раю*, скажутъ:

А сиди-жъ ты, душенька, годъ по годамъ,
А сиди-жъ ты, душенька, вѣкъ по вѣкамъ,

За свою-то правду за праведную,
За свою-то муку превѣчную!

Въ этихъ стихахъ воспѣвается страшный судъ, чудеса угодниковъ, пагубныя слѣдствія грѣха, награда добродѣтели и смиренія... Во всемъ этомъ замѣтно болѣе благочестія сочинителей, нежели поэзіи, видна фантазія народа, не проникнутаго изящнымъ вкусомъ, или, лучше сказать, отсутствіе фантазіи. Нѣтъ ни одной истинно-поэтической пѣсни, подобной, напримѣръ, легендѣ о *Святой Катеринѣ*, которую Мармье слышалъ на островахъ Ферозъ, изображающей въ очаровательныхъ краскахъ смерть мученицы, убитой на пути развратнымъ пилигримомъ, или пѣснѣ о *Святомъ Георгіи*, въ которой прекрасно описано спасеніе женщины святымъ воиномъ и обращеніе въ христіанство цѣлаго народа.

Какъ въ сказкахъ нашихъ главнымъ лицомъ является богатырь Илья Муромецъ, гроза разбойниковъ, такъ въ *стихахъ* важное мѣсто занимаетъ Илья Пророкъ, *судья праведный*, которому заживо *показалъ Господь видѣть муку и рай*, который встрѣчаетъ души *грѣшныхъ и праведныхъ*, и отсылая

одну на вѣчное мученіе, провожаетъ другую
къ вѣчному блаженству:

Онъ беретъ ее за рученьку за правую,
Онъ ведетъ ее чрезъ рѣчку черезъ огненную;
И поютъ они пѣсни херувимскія,
Херувимскія, серафимскія.

Во всѣхъ этихъ пѣсняхъ видно смѣшеніе церковныхъ преданій съ народнымъ вымысломъ. Нужно имѣть совершенно неэстетическій вкусъ, или быть помрачену ложнымъ патриотизмомъ, чтобъ не видѣть, что онѣ всегда были чужды народу, который, слушая слѣпыхъ нищихъ, не заимствовалъ у нихъ ни одной пѣсни и не зналъ, о чемъ они поютъ...

Вотъ наша древняя поэзія, и она не могла быть иною, потому-что была вѣрна жизни, которую изображала. Наши пѣсни, сказки и *стихи* можно сравнить съ тѣми произведеніями суздальскаго гравированія, гдѣ все является грубымъ и яркимъ, — гдѣ небо состоитъ изъ синяго пятна, земля изъ зеленой полосы, люди раскрашены синькой и сурикомъ, — гдѣ подъ грубо намалеванными красками нельзя отыскать первоначальнаго очерка предметовъ, и гдѣ не существуетъ ни переливовъ свѣта и тѣни, ни фізіономіи лицъ,

но однѣ только фигуры, безобразныя и грубыя. Что въ нашихъ старинныхъ пѣсняхъ и сказкахъ есть поэзія, въ томъ никто не сомнѣвается, но что она большею частію груба и не можетъ служить источникомъ для новѣйшей поэзіи, — это также несомнѣнно и ясно. Конечно, мы можемъ черпать изъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ, — какъ сдѣлалъ Пушкинъ въ *Русалкѣ* и Лермонтовъ въ *Письмѣ про царя Ивана Васильевича*, — но черпать только содержаніе древнихъ преданій, а не идеи и духъ старой Руси, несообразныя съ нашимъ новымъ воспитаніемъ и потребностями. Произведенія Пушкина и Лермонтова служатъ лучшимъ доказательствомъ, что древняя поэзія отжила свой вѣкъ и совершенно умерла для насъ. Мы можемъ разрывать ее, какъ разрываютъ какую-нибудь Помпею, можемъ усваивать поэзіи своей нѣкоторыя ея формы и даже краски, какъ строимъ дома въ помпейскомъ вкусѣ, но намъ невозможно уже сочувствовать старымъ идеямъ, какъ невозможно современному человѣку жить той самой жизнію, какою жилъ обитатель Помпеи.

Поэзія схоластическая.

Поэзія болѣе и болѣе приходила въ упадокъ, по мѣрѣ-того какъ падалъ народный духъ. Въ Сказаніи о Мамаевомъ Побойщѣ видно по крайней мѣрѣ желаніе подражать тому, что проникнуто было истиннымъ воодушевленіемъ, видно, что авторъ его увлекался Словомъ о полку Игоревѣ. Это была послѣдняя искра поэзіи, заброшенной нѣкогда въ русское общество норманнами. Въ слѣдующихъ вѣкахъ мы встрѣчаемъ только сухія историческія повѣсти, совершенно чуждыя всего прекраснаго и представляющія смѣшеніе исторіи съ сказками.

Ясно, что въ народной жизни не оставалось стихій, способствующихъ развитію поэзіи. Несмотря на то, письменность все еще порождала попытки къ поэтическимъ сочиненіямъ и заставляла даже искать поэзіи тамъ,

гдѣ не могло быть для нея ни малѣйшей пищи. / Словомъ, русская жизнь, пораженная тлетворными началами, увядала медленно, какъ подточенное дерево. Недоставало только, чтобы къ этому безплодному дереву, часть отъ часу засыхавшему, привить еще вѣтви, такъ же гнилыя и безплодныя. Наконецъ и это случилось. /

Въ XVI вѣкѣ основана была кіевская Академія, а въ XVII Славяно-греко-латинская Школа въ Москвѣ, — и тогда-то возникла у насъ схоластическая учоность, занесенная изъ Польши. Эта учоность, усиливаясь болѣе и болѣе, должна была окончательно убить умственную жизнь древней Руси и показать невозможность нашего развитія на старыхъ началахъ, безъ совершеннаго, кореннаго преобразованія общества и сближенія его съ образованной Европою. Облекая въ сухія формы всѣ отрасли литературы, она произвела и поэзію, которою замыкается послѣдній періодъ нашей древней письменности. Эта схоластическая, искусственная поэзія, порожденная школьнымъ образованіемъ, явилась до- того обильною, что исчерпала почти всѣ поэтическія формы. Она выража-

лась въ духовныхъ и свѣтскихъ одахъ, элегіяхъ, посланіяхъ, пѣсняхъ, псалмахъ, притчахъ... Все это носило на себѣ характеръ самаго нелѣпаго подражанія, чуждаго поэзіи и вкуса.

Важнѣйшими представителями схоластической школы были Лазарь Барановичъ, Симеонъ Полоцкій и Сильвестръ Медвѣдевъ. Они хотѣли все обратить въ поэзію, думая, что поэзія состоитъ въ одной только формѣ, и что для нея ничего не нужно, кромѣ стиховъ. Нетолько письма и посвященія книгъ, но и предисловія къ нимъ, даже точныя науки, какъ напримѣръ ариметика, излагались стихами. Симеонъ Полоцкій самый календарь переложилъ въ стихи. Но во всемъ этомъ потопѣ виршей, поэматъ, апологій, этистоль, акростишей, эпитафіонъ, — не замѣтно было ни одной искры поэзіи. Все писалось и сочинялось единственно потому, что того требовало школьное воспитаніе.

(Безжизненная вялость и однообразіе этой поэзіи изумительны: довольно узнать одно произведеніе, чтобъ получить понятіе обо всѣхъ. Недостатокъ творчества, чудовищный языкъ и несвойственный русской рѣчи раз-

мѣръ стиховъ, несмотря на богатство формъ, запечатлѣли всѣ произведенія клеймомъ надутой бездарности и грубости.) Однакожъ изученіе школьной поэзіи весьма важно: она составляетъ необходимое звено въ исторіи нашей литературы, замыкающее всю старую жизнь. Особенно любопытны и поучительны творенія тѣхъ писателей, которые по времени стоятъ ближе къ эпохѣ преобразованій Петра Великаго.

Однимъ изъ такихъ поэтовъ былъ Сильвестръ Медвѣдевъ, настоятель Славяно-греко-латинской Академіи, приверженецъ царевны Софьи, казненный въ послѣдствіи за участіе съ нею въ стрѣльцкомъ бунтѣ. Его стихотворенія заслуживаютъ передъ другими предпочтительное вниманіе, потому-что, не отступая ни въ чемъ отъ прочихъ произведеній схоластики, писаны не задолго до реформы Петра. Разборъ одной изъ его шіесъ даетъ нетолько понятіе о его сочиненіяхъ, но и обо всей школѣ, къ которой онъ принадлежалъ.

Между прочимъ Медвѣдевъ написалъ: *Плачъ и утѣшеніе о кончинѣ царя Θεодора Алексѣевича*. Это большая элегія, раздѣлен-

ная на двадцать двѣ вирши, или пѣсни, по числу лѣтъ жизни государя. Сперва представляется плачъ *сугубоглаваго царскаго орла*, *преславнаго клейнода россійскаго*, въ лицѣ котораго изображено русское войско, потомъ плачъ царицы Марѣи Матвѣевны, затѣмъ рыданіе двухъ тетокъ и семи сестеръ покойнаго государя, которыхъ стихотворецъ называетъ *девятью чинами ангельскими*, и все заключается сѣтованіемъ Великой, Малой и Бѣлой Россіи, оплакивающихъ своего *Дара Божія*. Θεодоръ утѣшаетъ всѣхъ попеременно, говоря, что онъ покинувъ, земную юдоль, блаженствуетъ въ царствіи небесномъ, и въ заключеніе прибавляетъ:

Тѣмъ же преставши плача, Россіе, твоего,
Отъ прешествія въ небо радуйся моего!

Эта элегія вполне показываетъ характеръ нашей схоластической поэзіи. Въ ней видимъ духъ и цѣль тогдашнихъ поэтовъ и всю ихъ школьную изысканность. Олицетвореніе русскаго орла и даже находящагося въ немъ всадника, раздѣленіе сочиненія на вирши, по числу лѣтъ жизни героя его, совершенное отсутствіе чувства, замѣненнаго надутыми ви-

тѣйственными фразами, — все показываетъ направление и элементы схоластической поэзіи. Бѣлая Россія, проливающая потоки слезъ о кончинѣ царя, представлена лебедемъ, который, плавая въ слезахъ, воспѣваетъ въ послѣдней пѣснѣ своей Θεодора и его небесное царствіе. Мужду тѣмъ Медвѣдевъ былъ однимъ изъ образованныхъ людей своего вѣка. Мы находимъ въ его сочиненіяхъ посланіе къ Софѣѣ Алексѣевнѣ⁸⁾, заслуживающее особеннаго вниманія. Это родъ похвальной оды, въ которой онъ прославляетъ царевну за любовь къ наукамъ и просвѣщенію, и хвалитъ за то, что она мудро заботилась о славѣ отечества и прогоняла *темноту невѣжества изъ Москвы*. Вотъ что говоритъ онъ въ своемъ *врученіи*:

Мнози въ Россіи прежде тебѣ быша
Веліи князи и цари пожиша;
Монастыри и иная создаху,
И тѣмъ тѣ славу си приобрѣтаху.
Но ни едину той даръ Богъ подати
Изволилъ, мудрость Россамъ показати.
Аще и много тѣчаніе твориша
О томъ, а въ дѣлѣ того не явиша.

Изъ этого видно, что на Руси понимали уже потребность образованія, но понимали

неясно, односторонне, и необходимъ былъ гений Петра, чтобъ показать, въ чемъ и гдѣ должна искать Россія своего образованія и счастія.

Схоластика, выражая, вмѣстѣ съ послѣдними вздохами старой жизни, послѣднюю степень упадка старой поэзіи, то въ лирикѣ — въ формѣ элегій, эпистоль, надгробій, то въ эпопеѣ — въ видѣ поэматъ, выразила наконецъ этотъ упадокъ и въ формѣ драматической. Она произвела множество *комидій*, сходныхъ нѣсколько съ западными мистеріями и *moralités*, и однакожъ выражающихъ русскую жизнь. Несмотря на то, что содержаніемъ для этихъ комедій служили происшествія изъ св. Писанія, въ которыхъ не допускалось ни отступленія, ни измѣненій, и что писателями ихъ были люди, большею частію воспитанные въ Польшѣ, — въ нихъ видна печать русскаго духа и русскаго воззрѣнія на жизнь, неподвижно-неизмѣнныхъ до самой реформы Петра. Стоитъ рассмотреть одну изъ такихъ піесъ Симеона Полоцкаго или Дмитрія Ростовскаго, чтобъ убѣдиться, какъ, оставаясь вѣрными св. Писанію и даже приводя изъ него цѣлыя тексты, они выражаютъ въ сво-

ихъ произведеніяхъ русскую жизнь и народныя о ней понятія. Въ этомъ отношеніи особеннаго вниманія заслуживаетъ *Комидія-притча о Блуднемъ Сынѣ* Симеона Полоцкаго ⁹⁾.

Самое названіе показываетъ, что авторъ взялъ содержаніе изъ извѣстной притчи о блудномъ сынѣ въ евангеліи. Дѣйствительно, онъ не только слѣдуетъ разсказу евангелиста во всѣхъ подробностяхъ, но даже перелагаетъ въ стихи самыя выраженія подлинника. Съ перваго взгляда покажется невозможнымъ найти въ такой піесѣ что-нибудь русское, однако, всмотрѣвшись въ нее внимательнѣе, вы видите, что этотъ блудный сынъ Симеона — истинное чадо старой, до-петровской Руси, со всею ея грубостію и невѣжествомъ. Піеса начинается тѣмъ, что блудный сынъ просится у отца путешествовать, посмотрѣть свѣтъ и просвѣтитъ умъ, говоря:

Богъ волю далъ есть; се птицы летаютъ,
Звѣріе въ лѣсахъ вольно пребываютъ.
И ты мнѣ, отче, изволь волю дати,
Разумну сущу весь міръ посѣщати...
Что стяжу въ дому? чему изучуся?
Лучше въ странствіи умомъ обогачуся.

Отецъ сначала не соглашается, наконецъ, уступая убѣдительнымъ просьбамъ сына, от-

пускаетъ его, и выдѣляетъ ему часть имѣнія въ наслѣдство. Юноша уѣзжаетъ съ рабами. Какъ же онъ пользуется свободою? Вырвавшись на волю, которой такъ страстно желалъ, молодой человѣкъ посылаетъ нанять толпу слугъ и начинаетъ съ ними грубую жизнь разврата. Симеонъ изображаетъ это совершенно съ русской точки зрѣнія. Не въ кругу друзей и женщинъ — какъ говорится въ св. Писаніи — расточаетъ у него юноша имѣніе, но въ толпѣ наемныхъ, безстыдныхъ рабовъ; всѣ наслажденія, всѣ забавы его ограничиваются пьянствомъ и игрою въ зернь. Здѣсь авторъ ярко показываетъ нелѣпыя черты расточительности буйнаго человѣка, вырвавшегося на волю: играя въ зернь, блудный сынъ платитъ у него за проигрышъ и за выигрышъ. Напившись съ рабами, онъ наконецъ совершенно забывается, и его въ безчувственномъ видѣ уводятъ спать.

Облегчившись на другой день *скляницей вина*, блудный сынъ узнаетъ, что расточилъ все имѣніе. Слуги - товарищи расхищаютъ остатки и удаляются. Онъ остается безъ куска хлѣба, нанимается пасти свиней, и ѣстъ вмѣстѣ съ ними жолуди. Наказанный плетьюми

за растрату свиней, онъ наконецъ раскаи-
вается, только не въ распутствѣ, которое до-
вело его до униженія, а въ томъ, что рѣ-
шился странствовать: Онъ упрекаетъ себя,
зачѣмъ оставилъ отеческій кровъ, восклицая:

О, коль бѣ благо въ дому отчемъ быти,
Нежели въ страны чуждыя ходити!

Несчастія заставляютъ его наконецъ вспо-
мнить о родительскомъ домѣ, и онъ нищимъ
возвращается на родину. Принятый снова лю-
бящимъ отцомъ, преступный сынъ съ него-
дованіемъ воспоминаетъ о своемъ проступкѣ
и не понимая, что совсѣмъ не желаніе *идти
въ чуждыя страны*, а одно только нелѣпое
употребленіе свободы погубило его, благода-
ритъ Бога за свое возвращеніе. Авторъ за-
ключаетъ комедію правоученіемъ, говоря:

Юнымъ се образъ старѣйшихъ слушати,
На младый разумъ свой не уповати;
Старымъ, да юныхъ добръ наставляють,
Ничто на волю молодыхъ не спускають.

Изъ этого очерка видно, какъ смотрѣлъ
Симеонъ Полоцкій на современную ему жизнь,
какое сходство въ его сочиненіи съ народ-

ными пѣснями и сказками, и на какой идеѣ основана его комедія. Эта идея могла родиться въ такомъ только обществѣ, гдѣ, по среди старыхъ, отжившихъ элементовъ народной жизни, начало проявляться безсознательное желаніе преобразованія, — но гдѣ, подавляемое вѣковыми устарѣлыми идеями, оно не только не находило сочувствія въ большинствѣ, но еще неясно, почти превратно понималось и тѣми, въ комъ проявлялось. Ясно, что Симеонъ, въ лицѣ блуднаго сына преслѣдуетъ не одного только юношу, который, осмѣлившись вырваться изъ подъ надзора родительскаго, гибнетъ жертвою незрѣлаго ума и низкихъ страстей, а цѣлое поколѣніе тѣхъ людей, которые, сознавая тягостъ закоренѣлыхъ, старыхъ предразсудковъ, стремились, хотя и безсознательно, къ какой-то новой жизни. На этотъ-то новый, едва только зарождавшійся элементъ, мѣтитъ онъ въ своей комедіи, и его идея, какъ идея большинства, показываетъ съ одной стороны, какъ далеко еще было общество русское отъ усовершенствованія, а съ другой — какая исполинская сила была въ рукѣ Петра, который рѣшился смѣлымъ ударомъ сокрушить щитъ, прикры-

вавший взлелѣянные вѣками предрасудки и закоснѣлые обычаи.

Въ этомъ краткомъ очеркѣ мы не думали исчислять всѣ мелочные факты, а старались показать духъ самой поэзіи, отношеніе ея къ жизни, причину и значеніе важнѣйшихъ явленій. Какіе же выводы представляютъ разобранные факты?

Русская поэзія, получившая благотворное начало отъ тѣхъ элементовъ, которые внесены были въ нашу древнюю жизнь норманнами, и памятниками которой служатъ сказанія, сохраненныя Несторомъ, Слово о Полку Игоревѣ и отчасти отрывки изъ поэмы о Пирахъ князя Владиміра, — не могла получить дальнѣйшаго развитія, потому-что тѣ начала жизни, изъ которыхъ она возникла, вскорѣ были заглушены. Не представляя богатыхъ памятниковъ, достойныхъ стать въ сравненіе съ древними памятниками другихъ народовъ, наша поэзія доказываетъ только, что героическія времена скандинавскихъ князей имѣли въ себѣ элементы не только не чуждые поэзіи, но способные принести богатые

плоды, еслибы народная жизнь не была поражена въ самомъ ея источникѣ такими идеями, которыя нисколько не могли способствовать дальнѣйшему ея развитію. Общественная жизнь, послѣ паденія скандинавскихъ началъ, отличалась такими элементами, которые совершенно были чужды поэзіи, а потому дальнѣйшая исторія до временъ Петра есть картина медленнаго, но непрерывнаго упадка. Старая наша поэзія не вдругъ погибла, но уничтожилась медленно, разваливаясь по частямъ, какъ ветхое зданіе. Эта поэзія вполнѣ совершила весь кругъ свой, перешла всѣ фазы жизни и умерла вмѣстѣ съ нею. Она имѣла свою лирику, заключавшуюся въ пѣсняхъ, а въ - послѣдствіи въ духовныхъ гимнахъ и посланіяхъ; эпопею, сперва явившуюся отрывочно въ сказаніяхъ Нестора, достигшую значительнаго развитія въ Словѣ о Полку Игоревѣ, смѣшавшуюся съ восточнымъ элементомъ въ Пирахъ князя Владиміра и наконецъ потонувшую въ схоластикѣ; имѣла и драму, какъ послѣднее проявленіе старой жизни, сперва въ зародышѣ, въ хороводныхъ пѣсняхъ, а потомъ въ схоластическихъ мистеріяхъ, запечатлѣнныхъ, какъ мы уже ви-

дѣли, тѣмъ же самымъ народнымъ воззрѣніемъ. Такимъ образомъ, въ исторіи нашей поэзіи древній періодъ составляетъ совершенно отдѣльную картину, полную, оконченную и даже ненужную для изображенія новой поэзіи, еслибъ только она самою противоположностію не обозначала ея направленія и своей тѣнью не выказывала ярче ея свѣта.



НОВАЯ РУССКАЯ ПОЭЗІЯ.

I.

Ломоносовъ и Кантемиръ.

Петръ могучей рукою сокрушилъ преграды, отдѣлявшія Россію отъ Европы, разбудилъ неподвижнаго богатыря и вывелъ его въ новый, невѣдомый міръ. Народная жизнь, потрясенная въ самомъ основаніи, пробудилась съ такими силами, какихъ и не подозревали въ ней. Какъ обширная рѣка, надолго окованная льдомъ, вскрывается при лучахъ весенняго солнца, такъ проснулась, потекла и зашумѣла эта жизнь, восемь вѣковъ таившаяся подъ корою отчужденія и невѣже-

ства. Преобразованія Петра коснулись самыхъ глубокихъ началъ общества, потрясли самыя твердыя его основы. Русскій человѣкъ увидѣлъ наконецъ божій міръ. Тяжело ему было отстать отъ своихъ вѣковыхъ предрассудковъ, отказаться отъ той физической и умственной лѣни, въ которой такъ долго тонулъ онъ; но могучая воля великаго государя все преодолѣла, благодаря той потребности къ новой жизни, которая была уже заброшена въ немногихъ, послѣ призыва иностранцевъ.

Не будемъ распространяться о томъ, до какой степени была приготовлена Русь къ великой реформѣ. Вражда къ образованію, раздуваемая невѣжествомъ, господствовала не только въ началѣ XVII вѣка, когда любознательный человѣкъ принужденъ былъ учиться тайно, по ночамъ, чтобъ не погибнуть въ общественномъ мнѣніи ¹⁰⁾; но даже въ концѣ этого столѣтія она почти не ослабѣла. Стоитъ сличить путешествіе игумена Даніила съ статейными списками временъ царя Алексѣя Михайловича, чтобъ увѣриться, какъ недалеко подвинулись понятія русскихъ въ теченіи пяти вѣковъ, раздѣляющихъ перваго нашего паломника отъ поколѣнія, предшествовавшаго

Петру. Русскій бояринъ, объѣзжая образованную Европу, возвращался на родину, не принося съ собою ничего, кромѣ воспоминаній о томъ, какъ во Флоренціи кормили его яичницею изъ страусова яйца, а въ *Сан-жарментъ* показывали сады *улицами устроены и воды взводныя*, и если замѣчалъ, что въ Испаніи пьяные не валяются и не кричатъ по улицамъ, а во Франціи *люди человѣчны и ко всякимъ наукамъ тщательны* ¹¹⁾, — то изъ всего этого не выводилъ ровно никакого заключенія. Самое противодѣйствіе, встрѣченное Петромъ, противодѣйствіе сильное и ожесточенное, служить доказательствомъ, какъ мало приготовлена была народная масса къ принятію его свѣтлыхъ идей, и какъ упорно отстаивала она свои вѣковые предразсудки. Успѣхъ Петра показываетъ только, что потребность новой жизни таилась уже въ обществѣ, и что воля монарха нашла отголосокъ въ сердцахъ немногихъ, но пламенно жаждавшихъ образованія. И Петръ совершилъ подвигъ, который безпристрастно можетъ быть названъ величайшимъ изъ дѣяній, какія только представляетъ исторія.

Великій преобразователь бросилъ въ русское общество сѣмена новой жизни. Русь начала перерождаться и — говоря словами Батюшкова — *прирастать къ просвѣщенной Европѣ*. Борода и неизмѣнный костюмъ, столько вѣковъ считавшіеся *образомъ и подобіемъ божіимъ* ¹²⁾, исчезли въ высшемъ и среднемъ классѣ; женщина выведена изъ златоверхаго терема и получила право гражданства въ обществѣ; науки и художества, не стѣсняемыя въ своемъ развитіи, принялись на новой почвѣ... Но это были только сѣмена, — плоды таились и таятся еще въ будущемъ. Быстрая реформа, породивъ сильное противодѣйствіе въ народѣ, произвела противорѣчія въ жизни, неизбежныя при столкновеніи стараго съ новымъ, азіатскаго съ европейскимъ, невѣжества съ просвѣщеніемъ. Борьба была неминуемымъ слѣдствіемъ крутаго переворота; она продолжалась съ ожесточеніемъ и будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, когда народъ не проникнется вполне тѣмъ животворнымъ свѣтомъ европейской гражданственности, который открылъ намъ Петръ, *прорубивъ окно въ Европу*. Невѣжество долго и упорно отстаивало свои

права, и теперь еще далеко не ~~кончилась~~ вражда его съ свѣтлыми идеями, рожденными образованностію и вѣковою жизнію просвѣщеннаго запада. Обривъ бороду, промѣнявъ кафтанъ на фракъ, русскій человѣкъ не могъ также скоро отказаться отъ своихъ старыхъ понятій; женщина, освободясь отъ плетки и терема, не сознала еще своего общественнаго значенія; наука, получа новую жизнь, несовсѣмъ вырвалась изъ старыхъ цѣпей стѣсненія.

Такимъ образомъ, русская жизнь послѣ Петра Великаго представила два элемента: стремленіе сблизиться съ цивилизаціею образованнаго запада и препятствіе, противопоставляемое невѣжествомъ, старавшимся подавить новое начало и утвердиться на прежнихъ, до-петровскихъ идеяхъ. Усилія къ сближенію съ Европою должны были необходимо повлечь ближайшее знакомство съ нравами, — и отъ-того жизнь лучшаго класса общества, класса жаждавшаго образованія, сдѣлалась подражательною и совершенно чуждою формъ старой жизни. Противоборство же, встрѣчаемое этимъ элементомъ на пути къ развитію, препятствія, поставляемыя упор-

ою закоснѣлостью невѣжества, должны были ородить негодованіе одной части общества въ другой.

Поэзія, какъ живой отголосокъ жизни, еобходимо должна была выразить оба эти элемента, и она выразила ихъ въ двухъ азличныхъ направленіяхъ, начавшихся неосредственно послѣ Петра. Съ одной стороны, въ слѣдствіе сближенія съ образованною Европою и изученія ея литературы, наалась поэзія, которая заимствовала содержаніе и форму у другихъ, и возникла слѣовательно не изъ самыхъ началъ общественон жизни,—это поэзія *подражательно-реюрическая*. Съ другой стороны, негодованіе азвивающагося молодаго общества на проиводѣйствіе, встрѣчаемое имъ въ лицѣ старыхъ началъ, породило поэзію, проистекавшую зъ самой жизни,—*самобытно-сатирическую*. Оба эти направленія начались одновременно, акъ необходимое слѣдствіе реформы. Но какъ Петръ не могъ одинъ совершить преобразованія старой Руси и задавить всей гидры евѣжества, то его идея должна была развиваться долго послѣ него. Русское общество, родолжая сближаться съ европейскимъ, без-

прерывно усвояло плоды его жизни и боролось съ врагами просвѣщенія, которые не могли быть скоро истреблены; а потому объ школы поэзіи, какъ реторическая, такъ и сатирическая, шли объ-руку съ общественной жизнію, какъ ея выраженіе. Другой поэзіи у насъ не могло быть, потому-что въ жизни не существовало другихъ элементовъ, кромѣ безпрестаннаго усвоенія чужого образованія и безпрестаннаго противодѣйствія новымъ идеямъ.

Эти два начала, порожденныя кореннымъ государственнымъ переворотомъ, должны были бороться до тѣхъ поръ, когда одно, какъ разумное, необходимо возникшее изъ брошеннаго однажды благотворнаго сѣмени, успѣетъ до такой степени проникнуть массу, что не найдетъ уже сильнаго противодѣйствія, и когда народъ русскій, усвоивъ вполнѣ пріобрѣтенное другими націями въ цѣлые вѣка умственной дѣятельности, и сравнявшись съ ними въ образованіи, начнетъ работать для человѣчества.

Разумѣется, реторическое направленіе, какъ подражательное, не смотря на важность и продолжительность своего вліянія, уступаетъ

въ значеніи сатирическому, какъ самобытному и возникшему изъ общественной жизни. Это двоякое направленіе продолжалось постоянно, и исторія нашей новой поэзіи представляетъ только постепенный ходъ *подражанія*, возникшаго изъ стремленія усвоить идеи поэзіи другихъ образованныхъ народовъ, и самобытной *сатиры*, порожденной борьбою новаго европейскаго начала со стихіями старой жизни. Всѣ наши писатели были представителями этихъ двухъ школъ, изъ которыхъ первая началась съ Ломоносова, а вторая съ Кантемира.

Въ самое цвѣтущее время жизни Петра, въ самомъ разгарѣ его реформы, родились два человѣка,—одинъ близъ Бѣлаго моря, въ ничтожной русской деревнѣ, другой на берегу Чернаго моря, въ Константинополѣ. Это были — сынъ бѣднаго русскаго рыбака, крестьянинъ Ломоносовъ, и потомокъ молдавскихъ господарей, князь Кантемиръ. Обоихъ судьба привела въ Москву, въ одно и то же учебное заведеніе, духовную академію, и оба докончили образованіе за-границею, одинъ въ званіи бѣднаго студента въ марбургскомъ университетѣ, другой въ качествѣ русскаго по-

сланника при дворахъ лондонскомъ и парижскомъ. Тотъ и другой страстно любили науку, жаждали образованія, горѣли потребностію жизни и дѣятельности, и оба предались науѣ и поэзіи. Но направленіе ихъ было различное. Ломоносовъ, будучи русскимъ, родясь въ крестьянскомъ быту и находясь даже въ связяхъ съ раскольниками, съ самаго дѣтства напился множествомъ предразсудковъ, свойственныхъ его времени и званію. Только страсть къ познаніямъ, энергическая душа и могучая воля помогли ему сорвать тяжолыя цѣпи, найти путь къ образованію и сознать величіе подвига Петра, виновника возникавшаго просвѣщенія; но какъ призваніемъ его была наука, то и поэзія возникла у него какъ слѣдствіе діалектики, а сближеніе съ Вольфомъ и Гинтеромъ и изученіе ложноклассическихъ поэтовъ, сообщили ей направленіе подражательное. Ломоносовъ положилъ начало школѣ реторической. Кантемиръ, какъ иностранецъ по рожденію, не могъ подвергнуться вліянію вѣковыхъ предразсудковъ русскаго невѣжества, которое всасывалось съ молокомъ матернимъ, и родясь въ кругу аристократическомъ, еще болѣе предохраненъ

былъ отъ ихъ пагубнаго вліянія; но привезенный ребенкомъ въ Россію; воспитанный въ рускомъ учебномъ заведеніи, и притомъ въ духовномъ, онъ имѣлъ возможность узнать Русь со всѣми ея нравами и обычаями и постигнуть, подобно Ломоносову, всю важность реформы Петра, только-что начатой и далеко еще не конченной. Отъ того въ немъ должно было родиться удивленіе къ великому преобразователю и негодованіе къ невѣжеству, которое усиливалось остановить ходъ просвѣщенія; а долгое пребываніе при французскомъ дворѣ, познакомивъ его съ плодами европейской цивилизаціи и утонченными нравами парижской аристократіи и сблизивъ съ первѣйшими умами того времени, каковы были Мопертюи и Монтескье, — представило ему еще болѣе въ черномъ свѣтѣ до-петровскую Русь и еще сильнѣе раздуло негодованіе на враговъ образованія. Кантемиръ сдѣлался писателемъ сатирическимъ.

Вотъ два корифея нашей новой поэзіи: въ одномъ проявилось стремленіе къ знанію и наукѣ, въ другомъ презрѣніе къ невѣжеству и пороку; въ одномъ видно усиліе найти высокое, въ другомъ — жажда осмѣять

и поразить низкое. Тотъ и другой не были поэтами, чего и нельзя было требовать въ такое время, когда пестрое, разнохарактерное общество находилось еще въ состояніи броженія; но оба отличались необыкновеннымъ умомъ, жаждою къ познаніямъ и дѣятельности, — оба служили наукѣ и находили въ ней отраду и утѣшеніе, одинъ борясь съ несчастіями *ради усердія къ ученію*, другой бесѣдуя въ тишинѣ кабинета *съ греками и латинами*.

Первымъ стихотворнымъ произведеніемъ Ломоносова была ода *На взятіе Хотина*, въ которой онъ воспѣлъ въ двадцати восьми строфахъ занятіе русскимъ отрядомъ турецкой крѣпости. Одаренный многостороннимъ и пытливымъ умомъ, Ломоносовъ съ неутолимою жаждою гонялся за всѣми отраслями знаній, переходилъ отъ исторіи къ химіи, отъ мозаики къ краснорѣчію, отъ физики къ филологіи, и занимаясь русскимъ языкомъ, грамматикою и просодіей, вздумалъ писать стихи. Но родясь съ призваніемъ къ ученой дѣятельности, предпочитая всегда науку поэзіи, этотъ человѣкъ не могъ создать школы самобытной, а долженъ былъ обратиться къ

изученію литературъ иностранныхъ. Такъ и случилось. Живя и обучаясь въ Германіи, онъ сблизился съ поэзіею нѣмцевъ и французовъ. Гинтеръ, Малербъ и Жанъ-Батистъ Руссо сдѣлались его образцами; у нихъ заимствовалъ онъ искусственный восторгъ, напыщенный педантизмъ и школьную форму ложнаго классицизма, и положилъ, такимъ образомъ, начало школѣ реторической, которая долго считалась единственной и настоящей поэтической школою. Удѣляя свободные часы стихотворству, Ломоносовъ написалъ много одъ на разныя оффиціальныя событія, на маскарады, праздники и иллюминаціи. Всѣ онѣ отличались холодностію, отсутствіемъ истиннаго чувства, общими мѣстами и недостаткомъ логической послѣдовательности, всѣ были лишены содержанія и наполнены одними реторическими возгласами. Въ нихъ авторъ отправлялся на Парнасъ, умывался *кастальской водою* и, *согрѣтый пермесскимъ жаромъ*, пѣлъ *россійскій родъ*. По формѣ эти оды были совершеннымъ сколкомъ Жанъ-Батиста Руссо и другихъ современныхъ одописцевъ. Вся эта придуманная реторическая изысканность, Аполлоны и музы, безпрестанные возгласы:

*Россия, что тебя за веселъ духъ живит,
не Пиндъ ли подъ ногами зрю?* — все э
считалось необходимымъ убранствомъ кл
сической оды. У Руссо на всякомъ шагу встр
чаются *doctes Soeurs, chastes nymphes*
Permesse и пѣстическія формулы въ род
est-ce une illusion soudaine? quel nouveau
concerts d'alégresse retentissent de tout
parts?

Не смотря на всю нелѣпость этихъ о
явленіе Ломоносова было въ свое время при
ною новостію. Въ самомъ дѣлѣ, чего мог
требовать то общество, которое, едва осво
дѣсь отъ вѣковой слѣпоты, не успѣло е
осмотрѣться, видѣло въ европейской цивил
заціи одинъ наружный лоскъ и смотрѣло
поэзію, какъ на особый видъ не истребле
наго еще шутинства? Чего, кромѣ бездушна
реторизма, достойно было то время, ко
поэту поручалось сочиненіе аллегорически
картинъ на иллюминаціи и похвальныхъ сти
ковъ, какъ необходимой принадлежности пра
никовъ; когда меценаты поступали съ по
томъ какъ съ шутомъ, награждая его, въ ли
Тредѣяковскаго, сотнею рублей за подготовле
ннѣй восторгъ, и сотнею палокъ — за просроч

заказанной оды? Удивительно ли, что въ стихахъ Ломоносова, писанныхъ болѣе для того, чтобъ угодить патрону Шувалову, не было ничего, кромѣ искусственнаго реторизма, и удивительно ли, что современники увидѣли въ немъ *россійскаго Пиндара*, совмѣстившаго въ себѣ всѣхъ поэтовъ Греціи?

Впрочемъ, у Ломоносова находимъ что-то похожее не на поэзію, чего и не должно требовать отъ него, но на нѣкоторое одушевленіе; когда онъ, слѣдуя своему ученому призванію, беретъ содержаніе стиховъ изъ науки, или когда предметъ стихотворенія сильно шевелитъ его сердце, полное любви къ престолу. Въ этомъ отношеніи лучшія его произведенія: *Письмо о пользѣ стекла*, хотя чуждое поэзіи, но довольно-остроумное и веселое, и ода *На восшествіе на престолъ императрицы Екатерины II*, гдѣ видѣнъ не одинъ *пермесскій жаргъ*, но и благоговѣніе къ государынѣ, обѣщавшей новую жизнь народу. Эта ода — рѣшительно лучшее произведеніе Ломоносова, единственная изъ его стихотворныхъ піесъ, мѣстами оживленная истиннымъ чувствомъ. Вотъ какъ привѣтствовалъ онъ будущую великую монархиню:

О коль монархъ благополученъ,
Кто знаетъ Россами владѣть!
Онъ будетъ въ свѣтѣ славой звученъ
И всѣхъ сердца въ рукѣ имѣть.
Тебя столь счастливу считаемъ,
Богиня, въ коей признаваемъ
Въ единой всѣ доброты вдругъ,
Щедроты, вѣру, справедливость,
И съ постоянствомъ прозорливость,
И истинной геройской духъ.

Услышьте, судиі земные
И всѣ державныя главы:
Отъ буйности блюдитесь вы
И подданныхъ не прѣзирайте;
Но ихъ пороки исправляйте
Ученьемъ, милостью, трудомъ,
Виѣстите съ правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу;
То Богъ благославить вашъ домъ.

О коль велико, какъ прославятъ
Монарха вѣрные рабы!
О коль опасно, какъ оставлять
Отъ тѣсноты своей въ скорби!

Но и въ этой одѣ истинное одушевленіе
смѣшано съ реторическимъ пустословіемъ,
и мелькаетъ какъ цвѣтокъ въ тернахъ.

Ломоносова называютъ пѣвцомъ Елиса-
веты, и это несовсѣмъ несправедливо: въ
одахъ его видно глубокое благоговѣніе къ
императрицѣ, которую онъ воспѣваетъ, какъ
богиню, покровительницу наукъ, какъ суще-

тво неземное, источникъ всего счастья и
лавы отечества. Съ глубокимъ благоговѣ-
іемъ обращается онъ къ государынѣ:

Намѣстница всевышней власти,
Что родомъ, духомъ и лицомъ
Восходишь выше смертныхъ части,
Прехвальна, совершенна всѣмъ,
Въ которой всѣхъ даровъ изрядство,
Съ величествомъ цвѣтеть пріятство;
Кому возможно описать
Твои доброты всѣ подробну!

И, проникнутый чувствомъ вѣрноподдан-
ческаго почтенія къ боготворимой монар-
хинѣ, онъ куритъ ей ониміамъ глубоко пре-
аннаго сердца. Въ надписи на иллюминацію
747 года онъ воссѣлицаетъ:

Какъ вѣчная гора стоитъ блаженство наше,
Крѣпчаетъ мрамора, рубина много краше.
И твой, монархиня, престолъ благословенъ,
На нашей вѣрности недвижно утвержденъ.
Пусть мнимая другихъ свобода угнетаетъ,
Нашъ рабство подъ твоей державой возвышаетъ.

Что касается до эпическихъ и драмати-
ческихъ опытовъ Ломоносова, до его Петриадъ
Демофонтовъ, то они еще менѣе имѣютъ
остоинства, чѣмъ его оды: въ нихъ нѣтъ
и характеровъ, ни страстей, ничего, кромѣ

рабскаго подражанія и самаго тяжелаго классицизма.

Но если Ломоносовъ былъ только подражателемъ, если — какъ справедливо замѣтилъ Пушкинъ — «вліяніе его на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается,» то почему же онъ пользуется у насъ великимъ авторитетомъ, какъ поэтъ, и достоинъ ли памятника, которымъ почтила его Россія? Достоинъ, безъ сомнѣнія. Хотя мы не видимъ въ немъ болѣе «орла, ширяющагося въ облакахъ» — какъ говорилъ Мерзляковъ, — хотя онъ повредилъ нашей поэзіи, давъ ей ложное направленіе; — однако имя его бессмертно: онъ оказалъ великую услугу, создавъ языкъ и стихъ для русской поэзіи. Не должна ли оставаться незабвенною память того, кто, послѣ силлабическихъ, тяжелыхъ стиховъ Симеона Полоцкаго и Сильвестра Медвѣдева, заговорилъ такимъ языкомъ:

Бто море удержалъ брегами
И безднѣ положилъ предѣль,
И ей свирѣпыми волнами
Стремиться далѣ не велѣлъ?
Покрытую пучину мглою,
Не Я ли сильною рукою
Открылъ и разогналъ туманъ,

И съ суши сдвинуль океанъ?
Возмогъ-ли ты хотя однажды
Велѣть ранѣе утру быть,
И нивы въ день томящей жажды
Дождемъ прохладнымъ напоить?

Первымъ произведеніемъ Кантемира была сатира *На хулящихъ ученіе*. Благородныя идеи, вѣрный взглядъ на русскую жизнь и общество, яркія картины современныхъ нравовъ и обычаевъ, — все даетъ Кантемиру великое значеніе въ исторіи новой русской поэзіи, хотя въ формѣ его сатиръ не было ничего самобытнаго, какъ и въ одахъ Ломоносова.

Будучи свидѣтелемъ первыхъ послѣдствій великаго переворота, произведеннаго Петромъ, созная всю важность идеи мудраго преобразователя, Кантемиръ не могъ не видѣть всей черной стороны старой Руси, а потому ея общество должно было представляться ему въ печальномъ видѣ. Дѣйствительно, онъ изображаетъ старую жизнь, которая въ его время существовала еще въ большинствѣ, такими черными красками, что невольное негодованіе овладѣваетъ душою при взглядѣ на страшныя картины грубости. Да и могъ ли Кантемиръ найти другія черты въ этомъ обще-

ствѣ, только-что потрясенномъ отъ вѣковаго
усыпленія, среди этой тьмы, не проникнутой
еще лучами прочнаго и постоянного образо-
ванія? Удивительно ли, что краски его черны,
картины, въ которыхъ онъ изображаетъ ста-
рую жизнь, грязны своимъ цинизмомъ? Вотъ
какъ представляетъ онъ до-петровскую Русь:

Прибыль я въ городъ вашъ въ день нѣкій знаменитый;
Пришедъ къ воротамъ, нашель, что спитъ какъ убитый
Мужикъ съ ружьемъ, который, какъ потомъ провѣдаъ,
Поставленъ былъ входъ стеречь; еще не обѣдалъ
Тогда народъ, и солнце полкруга небесна
Не пробѣгло, а почти ужъ улица тѣсна
Была отъ лежащихъ тѣлъ. Узрѣвъ то разъ первой,
Чаялъ, что моръ у васъ былъ, да не пахло стервой;
И видѣлъ, что прочіе тѣхъ не отбѣгали
Тѣлѣ люди, и многіе изъ нихъ подымали
Руки, ины головы тяжки и румяны;
Не давала слабость ногъ встать; словомъ, всѣ пьяны...
Пьяны тѣ, кои лежатъ, прочи не трезвѣе,
Не обильнѣе умомъ, ногами сильнѣе.

.....
Пѣсни безстыдны и шумъ повсюду безстройный,
Что и глухаго ушамъ были-бъ безпокойны;
Словомъ, крайній тамъ мятежъ, безчинство ужасно....

Проникнутый такимъ презрѣніемъ и не-
годованіемъ къ старой жизни, глубоко любя
образование и науки, могъ ли Кантемиръ не
вооружиться на тѣхъ людей, которые, не по-
нимая идеи Петра, препятствовали ходу об-

зованія? А такихъ людей было въ то время много. Они существовали во всѣхъ классахъ: въ аристократіи, оскорбленной возвышеніемъ заслуги и таланта надъ старыми ти-ами, и въ чиновномъ быту, раздраженномъ явленіемъ новыхъ идей, пагубныхъ старому южкотворству и безсовѣстному неправосудію. Кантемиръ обратилъ бичъ сатиры на ихъ ненавистниковъ просвѣщенія, не хотѣвшихъ понять мудрости дѣйствій правитель-ва, и преслѣдовалъ ихъ со всею силою ума, всѣмъ негодованіемъ оскорбленной добротели, со всею ѣдкостью насмѣшки и пре-бнїя. Рисуя яркими красками современное щество, онъ представляетъ и ханжу, ложно нимаваго благочестіе, и дворянина, на-ганнаго спѣсью и гордостію, и чиновника, ивыкшаго къ ябедѣ и взяткамъ. Всѣ эти пы схвачены Кантемиромъ съ удивитель-й вѣрностію и безпристрастіемъ. Прежде го онъ нападаетъ на ханжей, которые гнали вую жизнь, подъ видомъ ревности къ ре-гїи, и хотѣли увѣрить, что преобразова-і, начатыя Петромъ, ведутъ къ разврату и збрію...

Критонъ съ четками въ рукахъ, ворчить и вздыхаетъ,
 И просить, свята душа, съ горькими слезами,
 Смотрѣть, сколь сѣмя наукъ вредно между нами:
 Дѣти наши, что предъ тѣмъ тихи и покорны
 Праотческимъ шли слѣдомъ, къ божіей проворны
 Службѣ, съ страхомъ слушаю, что сами не знали,
 Теперь къ церкви соблазну Библію честь стали,
 Толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, причину,
 Мало вѣры подаю священному чину;
 Уже свѣчекъ не кладутъ, постныхъ дней не знаютъ,
 Мірскую въ церковныхъ власть рукахъ лишну чаютъ,
 Шепча, что тѣмъ, что мірской жизни ужъ отстали,
 Помѣстья и вотчины весьма не пристали.

Съ такимъ же жаромъ преслѣдуетъ сати-
 рикъ дворянъ, порицавшихъ науку, потому
 что не видѣли въ ней матеріальныхъ выгодъ:

Сильванъ другую вину наукамъ находить:
 Ученіе, говорить, намъ голодъ наводить;
 Живали мы прежь сего не зная Латынѣ
 Гораздо обильнѣе, чѣмъ живемъ мы нынѣ,
 Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали,
 Перенявъ чужой языкъ свой хлѣбъ потеряли.
 Бude рѣчь моя слаба, буде нѣтъ въ ней чину,
 Ни связи, должно ль о томъ тужить дворянину?
 Землю въ четверти дѣлить безъ Эвклида смеслимъ,
 Сколько копѣекъ въ рублѣ безъ алгебры счислимъ.

Приказные, съ ихъ корыстолюбіемъ и не-
 вѣжествомъ, также обратили вниманіе Кан-
 темира, какъ осадокъ стараго варварства и
 неправосудія, и онъ нападаетъ на нихъ также
 энергически:

Хочешь ли судьбою стать?—вздѣнь парикъ съ узами,
 Брани того, кто просить съ пустыми руками;
 Твердо сердце бѣдныхъ пусть слезы презираетъ;
 Спи на стулѣ, когда дыякъ выписку читаетъ,
 Если-жъ кто вспомнить тебѣ граждански уставы,
 Иль естественный законъ, иль народны права —
 Плюнь ему въ рожу!

Вотъ съ какимъ благороднымъ негодова-
 ніемъ преслѣдуетъ Кантемиръ поборниковъ
 старыхъ предразсудковъ и враговъ просвѣ-
 щенія. Неумолимо караетъ онъ ихъ на каж-
 домъ шагу, рисуя современные ему типы
 глупости и невѣжества самыми яркими крас-
 ками, но никогда не отдаляясь отъ истины.
 Особенно ненавидитъ онъ старое барство,
 несовсѣмъ забывшее мѣстничество и съ не-
 удовольствіемъ смотрѣвшее на то, какъ та-
 лантъ и заслуга начинали находить покрови-
 тельство у государей. Рѣзко описываетъ онъ
 гордость и спѣсъ до-петровскаго барства, его
 широкую замашку къ азіятской лѣни, его пре-
 зрѣніе къ низшимъ классамъ общества. Вотъ
 какъ осмѣиваетъ сатирикъ людей этого круга:

Мнить онъ, что вещество то, что плоть ему дало,
 Было не такое же, но нѣчто сіяло
 Предъ прочими, и была то фарфорова глина
 Съ чего онъ, а съ чего мы — навозная тина.

И говоря, что не происхожденіемъ, а одними заслугами должны мы гордиться предъ обществомъ, прибавляетъ:

Адамъ дворянъ не родилъ, но одному сыну
Жребій былъ копать садъ, пасть другому скотину;
Ной въ ковчегъ спасъ себѣ равныхъ
Простыхъ земледѣлѣй, правами лишь славныхъ:
Отъ нихъ мы произошли, одинъ поранѣ
Оставя дудку, соху, другой попозднѣ.

Сверхъ-того у Кантемира, подъ вымышленными именами Хирона, Ксенона, Менандра, встрѣчаемъ современныхъ ему лица, которыхъ онъ не любилъ и преслѣдовалъ своею сатирою. Лица эти немудрено узнать, потому-что авторъ вездѣ вѣренъ и безпристрастенъ, и рисуетъ портреты тогдашнихъ временщиковъ безъ всякаго преувеличенія¹³⁾.

Такимъ образомъ, въ сатирѣ Кантемира отозвался голосъ негодованія молодаго поколѣнія, стремящагося къ образованію, на противодѣйствіе, встрѣченное въ поборникахъ стараго невѣжества, и ей суждено играть долго важнѣйшую роль въ нашей поэзіи. Въ ней видны уже зародыши тѣхъ идей, которыя въ послѣдствіи должны были высказаться яснѣе. Кантемиръ взялъ ихъ изъ среды са-

мага общества, коснулся важнѣйшихъ его интересовъ, тронулъ самыя чувствительныя его струны, и съ этой стороны онъ писатель совершенно народный.

Но этого нельзя сказать о формѣ его сатиры. Изучая писателей греческихъ, римскихъ и французскихъ, онъ сроднился съ тѣми, которые близки были къ его сатирическому уму, и взялъ форму для своихъ произведеній у Горация, Ювенала, Персія и Буало. Восхищаясь своими любимцами, онъ часто бралъ у нихъ цѣлыя отрывки, но никогда не былъ слѣпымъ подражателемъ, и самыя заимствованія умѣлъ облекать въ русскіе образы и принаровлять къ русской жизни ¹⁴). Что касается до языка Кантемира, то онъ мало подвинулся впередъ отъ склада Симеона Полоцкаго и отличается только тѣмъ, что болѣе очищенъ отъ польскихъ оборотовъ и школьныхъ выраженій.

Изъ этого очерка видно значеніе Ломоносова и Кантемира въ нашей поэзіи. Оба они были неизбѣжнымъ слѣдствіемъ петровской реформы, необходимымъ явленіемъ, возникшимъ изъ стихій новой жизни. Одинъ положилъ начало подражательному реторизму, другой самобытной сатирѣ; одинъ черпалъ

содержаніе для своихъ произведеній изъ заготовленнаго энтузіазма, другой—изъ глубокаго негодованія; заслуга одного неоспорима относительно внѣшней обработки поэтическаго языка, вліяніе другаго важно по идеѣ и внутреннему содержанію его поэзіи. Здѣсь съ перваго взгляда понятно преимущество Кантемира. Ломоносовъ, отрывъ нашей поэзіи ложный путь риторическаго подражанія, не отличаясь по идеямъ въ своихъ одахъ, поэмахъ и трагедіяхъ отъ похвальныхъ стиховъ Сильвестра Медвѣдева и драмъ Симеона Полоцкаго, оказалъ услугу въ одномъ только преобразованіи поэтическаго языка, тѣмъ болѣе, что попытка на измѣненіе стихосложенія сдѣлана еще прежде него Тредьяковскимъ, который не умѣлъ только подкрѣпить свою теорію образцами. Кантемиръ, при всемъ томъ, что не былъ поэтомъ и даже не разгадалъ тайны русскаго стихосложенія, имѣетъ обширнѣйшее значеніе, какъ писатель, который первый подалъ голосъ въ пользу образованія и вооружился на невѣжество, первый былъ проявителемъ идеи, которая развивается донынѣ въ нашей поэзіи и имѣетъ великихъ представителей.

Реформа Петра совершилась во время чрезвычайно неблагоприятное для поэзии. Во всей Европѣ господствовалъ тогда ложный классицизмъ, распространенный особенно французами. Думая, что творчество состоитъ въ слѣпомъ подражаніи грекамъ и римлянамъ, не понимая, что древняя поэзія, какъ живое выраженіе духа до-христіанскихъ вѣковъ, никакъ не могла служить образцомъ въ то время, когда общество жило совершенно иною жизнью, классики придумали уродливую теорію, и замѣнили произвольными правилами тѣ вѣчные законы природы, которые одни только служатъ источникомъ творчества. Они не знали, что эти законы никогда неизмѣнны, и хотѣли, подобно Навину, остановить солнце, не постигая, что искусство, какъ солнце, никогда не останавливается, или, лучше сказать, люди вѣчно движутся около этого неизбѣжнаго солнца. Въ силу такой теоріи, всякое отступленіе отъ установленныхъ формъ поэзии считалось въ глазахъ классиковъ уголовнымъ преступленіемъ, и скоро Шекспиры и Данты, знаменитые у своихъ соотечественниковъ, приведены были предъ невѣжественный судъ

классицизма, и объявлены нарушителями искусства.

Понятно, что, при такомъ состояніи европейской поэзіи, русская не могла не подчиниться ему, тѣмъ болѣе, что самобытной жизни у насъ еще не было и долго не могло быть. И вотъ большинство писателей, подчиняясь ложному направленію европейской литературы, провозгласило Ломоносова *россійскимъ Пиндаромъ*, и устремилось вслѣдъ за нимъ на Геликонъ упиваться *кастальской водою* и бесѣдовать *съ Аполлономъ и девятью сестрами*. Достигнувъ, по мнѣнію ихъ, этого блаженнаго жилища, одописцы

Составили изъ лиръ небесну гармонію
И пѣли благодать, вѣнчающу Россію.

Не проходило ни одного праздника и побѣды, нельзя было пустить ракеты и выставить плошки безъ того, чтобъ не появлялись десятки одъ, изукрашенныхъ поддѣльными цвѣтами реторики. Тредьяковскій, Сумарковъ, Петровъ, Херасковъ, Княжнинъ подвизались на этомъ поприщѣ, и современники, раздѣляя общія мнѣнія своего вѣка, признали безпрекословно Ломоносова *россійскимъ Пин-*

даромъ и щедро надѣляли другихъ одописцевъ титулами *россійскихъ Горациевъ и Анакреоновъ*.

Ломоносовъ пытался своимъ *Демофонтomъ* и *Тамирою и Селимомъ* проложить дорогу и въ драматической поэзіи; но его піесы были такъ неизящны и тяжелы, что даже самые поклонники не осмѣлились назвать его геніальнымъ драматургомъ. Мѣсто Корнеля и Расина оставалось вакантнымъ на нашемъ Геликонѣ, и его не замедлилъ занять Сумароковъ, выступая на сцену съ трагедіями, написанными въ подражаніе Расину и Вольтеру. Онъ былъ принятъ съ рукоплесканіями. Публика образованная, знакомая съ литературой французскою, находя Британиковъ, Эдиповъ, Заиръ, Роксанъ подъ именами Хоревовъ, Синавовъ, Оснельдъ и Ксеній, встрѣчая тѣхъ же наперсниковъ и наперсницъ, вѣстниковъ и героевъ, которыхъ видѣла во французскихъ трагедіяхъ, и не думала усомниться въ существованіи подобныхъ куколъ; а для класса не посвященнаго, не знавшаго до тѣхъ поръ ничего, кромѣ медвѣжьей травы, произведенія Сумарокова были удивительною новостью. Немудрено, что русскіе

были въ восторгѣ отъ этихъ трагедій и провозгласили его своимъ *Расиномъ* и *Вольтеромъ*.

Лучшая или, вѣрнѣе сказать, менѣе нелѣпая піеса Сумарокова, *Хоревъ*, нѣкогда собиравшая ему дани рукоплесканій, уродлива во всѣхъ отношеніяхъ. Въ ней не только не видно Россіи и русскихъ князей, но даже нѣтъ ни одного человѣческаго лица: Оснельда и ея возлюбленный зракъ Хоревъ, Кій и его подданные похожи на какихъ-то куколъ, дурно движимыхъ неискусной рукою, которыя бѣснуются, плачутъ, шумятъ, говорятъ фигурнымъ языкомъ, закалываются и умираютъ неизвѣстно почему и для чего.

Послѣдователемъ Сумарокова въ трагедіяхъ явился Княжнинъ; но какъ авторъ *Хорева* предупредилъ его въ качествѣ трагика, то онъ обратился къ комедіи, и получилъ титулъ *россійскаго Мольера*. Особенною знаменитостію пользовались двѣ его комедіи, *Чудаки* и *Хвастунъ*, — и послѣдняя, дѣйствительно, несовсѣмъ лишена интереса. Содержаніе ея довольно занимательно. Мелкій плутъ дворянинъ, подлый и низкій, гордый и расточительный, выдаетъ себя за знатнаго вельмо-

жу, пользуясь легковѣріемъ глупцовъ, увѣряетъ ихъ въ своей важности у двора, въ могущественномъ вліяніи на правительство, и хочетъ жениться на богатой дѣвушкѣ, чтобъ составить себѣ карьеру и спастись отъ тюрьмы, угрожающей ему за долги... Прочія піесы Княжнина не заслуживаютъ упоминанія. Всѣ эти Заиры, Милены, Извѣды, Милловзоры, Любимы не только не похожи на русскихъ, но въ нихъ нѣтъ совершенно никакой жизни. Княжнинъ, подражая Мольеру, ввелъ даже въ свои комедіи слугъ-наперсниковъ, забывая, что если они возможны были во Франціи и играли тамъ важную роль во времена развратнаго регентства, то у насъ, при грубости и униженіи холоповъ, его Полисты и Марины были вовсе неестественны. Потомство оцѣнило наконецъ Сумарокова и Княжнина, и отдавъ имъ справедливость во временной заслугѣ нашему театру, предало забвенію ихъ произведенія.

Итакъ, черезъ полвѣка послѣ сближенія нашего съ европейскою ложно-классической поэзіею, мы имѣли своихъ *Пиндаровъ*, *Горацийевъ*, *Расиновъ* и *Мольеровъ*; не доставало эпиковъ для полного укомплектованія пар-

наскаго штата. Правда, Тредьяковскій написалъ Тилемахиду, а Ломоносовъ началъ поэму, въ которой воспѣвалъ Петра; но одна была слишкомъ безобразна, а другая остановилась на двухъ пѣсняхъ. Обязанность пополнить этотъ недостатокъ и совмѣстить Гомера и Виргилія принялъ на себя Херасковъ. Современники особенно восхищались двумя его поэмами, *Россіядою* и *Владиміромъ*. Что же это были за поэмы?

Въ *Россіадѣ* воспѣвается покореніе Казани, и герой ея—Іоаннъ Грозный. Она написана по всѣмъ правиламъ классической теоріи, начинается вступленіемъ и обращеніемъ къ *стихотворному духу*, раздѣлена законнымъ образомъ на пѣсни, наполнена чудесами, въ которыхъ авторъ превзошелъ и Гомера, и Виргилія, и Тасса. Тутъ, вмѣстѣ съ христіанскими святыми, являются языческіе боги, вмѣстѣ съ Аполлономъ и греческими нимфами—Магометъ и его гуріи, вмѣстѣ съ монахами—колдуны, превосходящіе самого Исмена. У Гомера, Виргилія и Данта изображенъ адъ, и Херасковъ описываетъ вмѣсто того рай, куда ведетъ своего героя, Іоанна, со старцемъ Вассіаномъ, и открывъ

ему книгу судебъ, показываетъ будущее потомство до императора Павла I. Вы знаете, что у Гомера и Виргилія есть кораблекрушеніе, и жалѣете, что лишены будете этого зрѣлища въ Россіадѣ за неимѣніемъ моря, но вы ошибетесь: пѣтъ описываетъ кораблекрушеніе на Волгѣ, передъ которымъ одиссеево и энеево не значать ничего. Вы видите, какъ

Ревущія струи, поднявъ верхи свои,
Возносятся къ облакамъ великія ладьи;
И вдругъ разсыпавшись, во рвы ихъ низвергають,
Гдѣ кажется онѣ геенны досягають.

Словомъ, вся поэма есть ничто иное, какъ жалкое подражаніе Освобожденному Іерусалиму, съ примѣсью Одиссеи, Энеиды, Божественной Комедіи и Генріады. Изъ всего этого Херасковъ составилъ такое tutti frutti, которое ни съ чѣмъ не сравнится по оригинальности безсмыслицы!... Какихъ не придумалъ онъ нелѣпостей! Не говоря о томъ, что дворецъ его Сумбеки превосходитъ обитель самой Армиды, что заколдованный казанскій лѣсъ перещеголялъ іерусалимскій, что Алей разѣзжаетъ въ Казани на золотыхъ колесницахъ, — вы находите въ поэмѣ

татарскихъ *витязей*, превосходящихъ рыцарскими понятіями о чести Ринальдовъ и Генриховъ, и персидскихъ наѣздницъ Рамидъ, подобныхъ Клориндѣ и закалывающихся отъ любви.

Другая поэма Хераскова еще огромнѣе и также нелѣпа, какъ первая.

Но въ то время, какъ творцу Россіады и Владиміра сулили безсмертіе, явилось сочиненіе, которое невольно служило пародіею на его тяжелыя поэмы. Это была *Душенька* Богдановича, передѣланная изъ лафонтеновой новѣсти *Les Amours de Psyché*. Не смотря на отсутствіе народнаго духа, натянутое и напудренное содержаніе, эта піеса была пріятнымъ явленіемъ, показавъ въ первый разъ образецъ легкой стихотворной повѣсти, написанной довольно непринужденнымъ языкомъ.

Между тѣмъ, когда риторическая школа, основанная Ломоносовымъ, шла по пути ложнаго классицизма, сатирическое направленіе продолжало свое самобытное развитіе. Послѣ Кантемира представителемъ сатиры явился Сумароковъ, человѣкъ, какъ видѣли, чуждый поэтическаго таланта и воспитанный подъ гибельнымъ вліяніемъ ложной теоріи, но ум-

ный и даровитый. Увлекаясь энциклопедическим духом века и желанием подражать ольтеру, онъ хотѣлъ писать во всѣхъ родахъ, но изъ десятка томовъ его сочиненій исслуживаютъ вниманіе только сатиры и нѣкоторыя эпистолы. Хотя въ нихъ вмѣсто поэзии видѣнъ одинъ холодный умъ, а въ формѣ нѣтъ ничего самобытнаго, однако отношеніе къ русскому обществу и сочувствіе къ его интересамъ даютъ имъ мѣсто рядомъ съ сатрами Кантемира.

Сумароковъ сражается въ нихъ съ тѣми остатками стараго, до-петровскаго общества, которымъ «вредительная тьма разума рѣдѣла и полезный свѣтъ тягостенъ казался». Сознавая великія идеи мудраго реобразователя, понимая, что «въ перемѣнѣ гѣянья и бритья бородъ не было бы Петру еликому ни малѣйшія нужды, ежели бы паринное платье не покрывало стариннаго прямства, а борода въ подлыхъ головахъ не множала гордости», — онъ нападаетъ смѣло благородно на старыя предразсудки, невѣжество и подлости. Его сатиры показываютъ много человѣка, который любитъ истину, защищаетъ человѣческое достоинство, негодуетъ

на пороки и недостатки общества. Въ стихотвореніи *Питъ и его другъ* онъ говоритъ:

Гдѣ я ни буду жить, въ Москвѣ, въ дѣсу или полѣ,
Богатъ или убогъ, терпѣть не буду болѣ
Безъ обличенія презрительныхъ вещей.

Покорный этому обѣту, Сумароковъ выводитъ на позорище общественные недуги, не исцѣленные еще благодѣтельнымъ елеемъ европейской жизни. Въ его сатирахъ является и закоснѣлое ханжество, видѣвшее безнравственность въ новыхъ, чуждыхъ для него нравахъ, — и невѣжество, упорно гнавшее науку и просвѣщеніе, — и неправосудіе, привыкшее къ лицепріятію и мздоимству. Подобно Кантемиру, онъ представляетъ типъ невѣжды-дворянина, врага образованія:

Невѣжда говоритъ: я помню чей я внукъ;
По-дѣдовски живу, не надобно наукъ:
Пускай убытчатся уча ребята къ моты,
Мой мальчикъ не ученъ, а въ тѣ жъ пойдетъ ворота.
На что мнѣ, чтобы знать чужихъ народовъ нравы,
Или вперятися въ чужіе языки?
Какъ будто безъ того ужъ мы и дураки!

Подобно Кантемиру, нападаетъ онъ на неправедныхъ слугителей закона и преслѣдуетъ ихъ корыстолюбіе и продажность. Въ сатирѣ *О худыхъ судьяхъ* онъ говоритъ:

На то ли обществу имѣть судей злочинныхъ,
 Дабы законами губить имъ невинныхъ?
 Я взяткамъ предпочту бездѣльникову кражу:
 Ему не ввѣрило отечество суда,
 И честныхъ онъ людей не судить никогда.

Но болѣе всего гонить Сумароковъ пороки стариннаго боярства. Прославляя тѣхъ вельможъ, которые услугами отечеству стяжали общее уваженіе и славу, описывая подвиги Румянцовыхъ, Еропкиныхъ, Голицыныхъ и Паниныхъ, онъ преслѣдуетъ тунеядцевъ, гордыхъ только наслѣдственными титулами и богатствомъ, утопавшихъ въ праздности и роскоши. Вотъ какъ нападаетъ онъ на этихъ вредныхъ членовъ общества:

Ты честью хвалишься, котора не твоя:
 Будь пращуръ мой Катонъ, но то Катонъ, не я.
 На-что о прадѣдахъ такъ много ты хлопочешь
 И спѣшь дуешься?—будь правнукъ ты чей хочешь:
 Родитель твой былъ Пирръ и Ахиллесъ твой дѣдъ,
 Но если ихъ кровей въ тебѣ и знака нѣтъ,
 Какова ты осла почитать себя заставишь!

Въ другой сатирѣ онъ говоритъ:

На то ль дворяне мы, чтобъ люди работали,
 А мы бы ихъ труды по знатности глотали?
 Мужикъ и пьетъ и ѣстъ, родился и умретъ,
 Господскій также сынъ, хотя и слаще жретъ,
 И благородіе свое перѣдко славить,

Что цѣлый полкъ людей на карту онъ поставитъ:
Ахъ! должно ли людьми скотинѣ обладать?

Преслѣдуя съ такимъ негодованіемъ старое барство, Сумароковъ еще съ бѣльшею энергіею караетъ низкопоклонниковъ и льстецовъ. Говоря, что любовь къ отечеству должна быть первою добродѣтелью всякаго челоуѣка, отъ царя до послѣдняго подданнаго, онъ ненавидитъ тѣхъ подлыхъ эгоистовъ, которые, вмѣсто служенія общественному благу, заботились только о личныхъ выгодахъ и безчестномъ прибыткѣ....

Лстецъ мыслить никогда, что онъ безмѣрно гнусенъ,
Онъ мыслитъ то, что онъ какъ жить съ людьми искусенъ:
Коль нужда въ комарѣ, зоветъ его слономъ;
Когда къ боярину придетъ съ поклономъ въ домъ,
Сертитъ предъ мухою боярской безъ препоны,
И отъ жены своей ей дѣлаетъ поклоны.
Лстецы не обществу работать осужденны....
О пользѣ не ево пекутся, о своей;
Не сынъ отечества ласкатель, но злодѣй!

Вотъ сатира Сумарокова! Не смотря на отсутствіе поэзіи, въ ней нельзя не видѣть смѣлаго ума и благороднаго чувства. Ложно-классическое направленіе, погубивъ другія сочиненія Сумарокова, отразилось и въ самыхъ его сатирахъ; но отношеніе къ жизни

и общественнымъ интересамъ должны спасти ихъ отъ забвенія. По этимъ сатирамъ Сумароковъ занимаетъ почетное мѣсто въ исторіи нашей поэзіи, какъ послѣдователь идей Кантемира, какъ даровитый писатель, смѣло и благородно сражавшійся съ невѣжествомъ и порокомъ, которые по вѣковой закоренѣлости не переставали отравлять своимъ ядовитымъ дыханіемъ тотъ воздухъ чистой жизни, которымъ мы начинали дышать со временъ Петра Великаго.



Державинъ и Фонвизинъ.

Петру I Екатерина II сочувствовала во всѣхъ идеяхъ. При ней смена образованія и гражданственности, посѣянная преобразователемъ, пустили благотворные отпрыски, обѣщавшіе принести обильные плоды. То, что при Петрѣ понимаемо было еще немногими, при Екатеринѣ начало проникать въ различные слои общества. Благодѣтельные учрежденія монархини, любившей русскій народъ, ея заботы о распространеніи просвѣщенія, объ истребленіи старыхъ предразсудковъ и невѣжества, ея жажда къ правосудію и гражданской свободѣ, покровительство наукамъ и поэзій,—все справедливо должно дать ей мѣсто подлѣ Петра, какъ продолжательницѣ его великой идеи. Но реформа Петра, призывъ въ Россію множества иностранцевъ при его преемникахъ и мѣры Екатерины для

образованія народа, произведя благодѣтельныя слѣдствія, должны были повлечь за собою и крайности, неизбѣжныя при всякомъ крутомъ переломѣ. Съ одной стороны, какъ мы уже видѣли, явилась оппозиція невѣжества, не умѣвшаго сознать всей великости идей Петра, въ послѣдствіи не оцѣнившаго и благодѣтельныхъ намѣреній Екатерины; съ другой — пылкое стремленіе къ сближенію съ иностранцами, быстро возникнувъ послѣ вѣковаго отчужденія и сдѣлавшись модою, произвело людей, ложно понявшихъ европейскую цивилизацію и усвоившихъ то обезьянство, которое вредило истинному просвѣщенію не менѣе упорной приверженности къ старинѣ. Общество было самое пестрое. Въ первомъ ряду стояла партія, въ главѣ которой была сама императрица, партія людей, цѣнившихъ всю пользу сближенія съ Европою, всѣ плоды науки и западной цивилизаціи, стремившихся усвоить ихъ Россіи и подавить старые пагубные предразсудки. За нею слѣдовала толпа, которая, желая подражать людямъ образованнымъ, не понимала между-тѣмъ истиннаго образованія и, принимая сближеніе съ западомъ за одну обезьянскую переимчивость на-

ружныхъ формъ парижской жизни, отказалась отъ всего, что должно быть священо для человѣка, и предалась роскоши и разврату. Наконецъ старая фаланга закоснѣлыхъ враговъ просвѣщенія, преданнаго *очами, мысленіями и вѣстими чувствами* старинѣ, и подерѣпляемая въ своемъ упорствѣ дурными примѣрами ложно-понятой цивилизаціи, отстаивала свое азіатское невѣжество. Вотъ какую пестроту должно было представлять общество,—и такое явленіе было совершенно неизбѣжно. Борьба европеизма съ татарщиной кипѣла во всей силѣ, высокое вездѣ сталкивалось съ шутовскимъ и низкимъ. Съ одной стороны блескъ побѣдъ и славы, стремленіе къ просвѣщенію и цивилизаціи изумляли Европу, и Вольтеръ привѣтствовалъ изъ глубины своего уединенія мудрую сочинительницу Наказа; съ другой — невѣжество и старые предрасудки ясно говорили о временахъ темнаго варварства, а ябеда и ханжество поражали своимъ закоснѣлымъ упорствомъ. Здѣсь императрица заводила учебныя заведенія, открывала типографіи, покровительствовала поэтамъ, сама писала и издавала журналы; тамъ старое барство смотрѣло косо

на науку, приглашало на обѣды Фонвизина для того, чтобъ посмотрѣть, какъ онъ переразвивалъ шуту Сумарокова, и гнало Державина, какъ человѣка безпокойнаго и неспособнаго къ дѣламъ. Рядомъ съ героями и великими людьми являлись шуты и невѣжды, и даже въ одномъ лицѣ сливались самыя противоположныя крайности: одинъ и тотъ же человѣкъ изумлялъ блескомъ своего генія Европу и пѣлъ пѣтухомъ, одинъ и тотъ же вельможа жертвовалъ милліоны на учебныя заведенія и ѣздилъ публично въ сапогѣ на одной ногѣ и въ лаптѣ на другой.

Вся эта пестрота и оригинальность тогдашняго общества, всѣ эти противорѣчія въ нравахъ, не коснувшись нимало школы риторовъ, провозглашавшихъ себя *Гомерами* и *Пиндарами*, отразились на истинныхъ представителяхъ екатеринина вѣка, Державинѣ и Фонвизинѣ. Оба они могли явиться только во время Екатерины, и только ей обязаны были тѣмъ, что высказали вполне свои идеи.

Державинъ воспиталъ себя на Ломоносовѣ. Въ первые годы своей поэтической дѣятельности онъ подражалъ ему безусловно, и хотя въ послѣдствіи пошелъ по новому пути,

на. Въ томъ и другомъ видны однѣ и тѣ же мысли и чувства, возникшія только изъ холоднаго размышленія. Нѣкоторые высоко цѣнятъ оду *Безсмертіе души* и считаютъ ее лучшимъ произведеніемъ Державина, но съ этимъ мнѣніемъ нельзя согласиться. Въ ней, какъ и въ другихъ подобныхъ его одахъ, видимъ не столько чувство, вызванное изъ глубины души, сколько риторическія доказательства, не совсѣмъ удачно придуманныя. Для насъ эта піеса не имѣетъ ни какого значенія; да едва ли она могла быть важною и въ глазахъ современниковъ, когда Державинъ самъ иногда, по-видимому, противорѣчилъ высказаннымъ въ ней идеямъ. Какъ согласить съ доказательствами о вѣчной жизни души, съ мыслию, что

Безсмертіе стихія наша,
Покой и верхъ желаній—Богъ,

тѣ сомнѣнія въ будущемъ, которыя онъ высказываетъ во многихъ своихъ сочиненіяхъ и, между прочимъ, въ знаменитой одѣ *На смерть Меццерскаго*:

Здѣсь персть твоя, а духа нѣтъ.

Гдѣ онъ? — онъ тамъ. — Гдѣ тамъ? — не знаемъ.

Мы только плачемъ и взываемъ:
О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!

И такъ, негодованіе на современную французскую философію заставило Державина увлечься въ такую сферу, которая предлагала обширное поле мыслителю, но не могла дать пищи поэту, не получившему прочнаго воспитанія. Потому лучшія изъ духовныхъ одъ его тѣ, которыхъ содержаніе заимствованное, какъ напримѣръ *Властителямъ и судіямъ*. Здѣсь видно уже чувство и могучій голосъ потрясенной души.

Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина не замѣтно истинной любви, а является одна сладострастная чувственность и жажда къ наслажденіямъ. Эти стихотворенія отличаются тою же реторическою изысканностію; въ нихъ нѣтъ ничего высказаннаго любящимъ сердцемъ, но все внушено холоднымъ умомъ, все — какъ справедливо замѣтилъ одинъ изъ нашихъ критиковъ — блеститъ, а не грѣетъ. Въ нихъ чувственность иногда доходитъ до цинизма, иногда превращается въ приторную чувствительность, близкую къ сентиментальности. Всѣ эти стихотворенія проникнуты идеею о скоротечности

земныхъ наслажденій, объ ужасахъ смерти, которая должна лишить человѣка всѣхъ жизненныхъ благъ, — всѣ они служатъ варіаціями на одну тему:

Вкушать спѣшите благи свѣта,
Теченье кратко нашихъ дней ¹⁶⁾.

Но эта идея о непродолжительности земныхъ благъ, о неизбѣжности смерти, поражающей монарха и узника, сокрушающей звѣзды и солнца, достигаетъ иногда у Державина удивительной высоты, особенно въ одѣ На смерть Мещерскаго.

Торжественныя оды Державина долго считались образцами высокой поэзіи, но теперь служатъ только примѣрами изысканной реторики. Онѣ принесли большую пользу тѣмъ, что, выразивъ риторическое направленіе въ послѣдней степени совершенства, нанесли ему сильный ударъ. Побѣды, изумившія Европу и прославившія русское оружіе въ царствованіе Екатерины Великой, послужили источникомъ для этихъ одъ; но ложное направленіе поэзіи было причиною, что онѣ потеряли всякое значеніе. Напыщенные возгласы, надутыя метафоры, безпрестанныя повторенія дѣ-

лаютъ ихъ скучными докрайности. Оды: *На взятіе Измаила, На переходъ Альпійскихъ юргъ, Водопадъ, На взятіе Варшавы, На возвращеніе графа Зубова изъ Персіи*, счита-вшіися въ свое время чудомъ поэзіи, отличаются такими преувеличеніями, которыя совершенно уничтожаютъ и тѣ прекрасныя, истинно высокія мѣста, гдѣ поэтъ, изображая природу, является великимъ художникомъ. Въ нихъ нѣтъ ни вѣка, ни его представителей, не смотря на то, что этотъ вѣкъ былъ самою роскошною и оригинальною поэмою.

Видимъ ли мы въ торжественныхъ одахъ Державина тѣхъ исполиновъ великаго царствованія Екатерины, которые, кажется, только и жили для того, чтобъ вдохновлять своими подвигами поэтовъ? находимъ ли тѣ дивные образы, которые являются намъ въ самыхъ изумительныхъ краскахъ, ослѣненные блестящимъ ореоломъ славы? Гдѣ у него Орловы, Румянцовы, Суворовы, герои чуднаго вѣка побѣдъ и триумфовъ? Одинъ только непостижимый любимецъ судьбы, Потемкинъ, изображенъ великолѣпно и поэтически въ *Водопадѣ*:

Театръ его былъ край Эвксина,
Сердца обязанія — храмъ,

Рука съ вѣнкомъ — Екатерина,
 Гремяща слава — оміамъ,
 Жизнь — жертвенникъ торжествъ и крови,
 Гробница — ужаса, любви.

Но и этотъ очеркъ не полонъ, а въ описаніи смерти Потемкина много изысканнаго и реторическаго. Что касается до Суворова, не смотря на то, что онъ *воспѣвается* во многихъ одахъ, мы ни въ одной не видимъ истиннаго его портрета, и только встрѣчаемъ преувеличенныя метафоры и фигуры, которыми поэтъ хотѣлъ изобразить какого-то сказочнаго богатыря, представляя его подвиги баснословными нелѣпостями. Можно ли узнать Суворова въ такихъ возгласахъ:

Ступить на горы — горы трещать,
 Ляжетъ на воды — воды кипятъ,
 Граду коснется — градъ упадетъ,
 Башни рукою за облакъ кидаетъ.

Если странно видѣть, какъ Илья Муромецъ, схвативъ за ноги татарина, побиваетъ имъ непріятельское войско, то еще страннѣе встрѣчать такія олицетворенія и напыщенныя фразы въ описаніи человѣка, который изумилъ Европу своими побѣдами и странностями.

Всѣ прочія оды Державина на побѣды и торжества исполнены тѣми же самыми недостатками, и отличаются отъ подобныхъ ломоносовскихъ одъ только изрѣдка-мелькающими искрами поэзіи. Къ самымъ слабымъ піесамъ принадлежатъ тѣ, которыя написаны въ послѣдніе годы его жизни на разные случаи великихъ войнъ съ французами. Въ нихъ поэтъ является конечно патріотомъ, но онъ никогда не могъ возвыситься надъ толпою и смотрѣть на Наполеона такъ, какъ смотрѣлъ Пушкинъ. Онъ видѣлъ въ немъ *антихриста и седьмглаваго Люцифера*, а въ великой отечественной войнѣ находилъ одну побѣду

Царя Славянъ надъ Авадономъ.

Въ стихотвореніи *Атаману и войску донскому* онъ обѣщаетъ даже выдать крестницу, которую любилъ какъ дочь, за того, кто поймаетъ и приведетъ на арканъ Наполеона. Зная тогдашнее направленіе умовъ, мы не должны строго осуждать Державина, но въ то же время не можемъ не сказать, что онъ раздѣлялъ всегда заблужденія толпы и не умѣлъ надъ нею возвыситься.

Такимъ образомъ, Державинъ въ духов-

тиру Кантемира и Сумарокова. У тѣхъ она, не смотря на самобытный источникъ, сжата въ подражательной, однообразной формѣ и лишена поэзіи. Въ сатирѣ Державина, напротивъ, видимъ то же самобытное проявленіе духа, но въ самыхъ поэтическихъ идеяхъ и совершенно оригинальной формѣ. Она такъ разнообразна въ тонѣ и неуловима въ переходахъ, что кажется совершеннымъ протеемъ, оригинальнымъ и поэтическимъ въ каждомъ новомъ измѣненіи. Напрасно стараетесь схватить тонъ и настроенность души поэта: онъ неуловимъ. Его сатира является то грозною филиппикой и гремитъ на порокъ проклятіемъ раздраженной и негодующей души; то слезою тронутаго сердца, оплакивающего заблужденія; то ядовитой насмѣшкою ума, оскорбленнаго глупостями вседневной жизни; то шуткою добродушнаго характера, рожденною въ веселую минуту; то, послѣ грознаго проклятія порокамъ, гремящаго подобно страшному перуну, переходитъ въ радостную пѣсню добродѣтели, или въ гимнъ той монархинѣ, которой ободряющій голосъ далъ силы поэту сознать свое единственное назначеніе. Но этотъ гимнъ не похожъ на тѣ

возгласы, наполненные ничего не выражающими сравненіями и гиперболами, которые разсыпали щедрою рукою наши Пиндары, воспѣватели фейерверковъ и каруселей. Державинъ въ одахъ, посвященныхъ Екатеринѣ, является вполне достойнымъ ея и, вмѣстѣ съ тѣмъ, понимающимъ истинное значеніе поэта. Онъ первый замѣнилъ въ нихъ духъ напыщенной лести благороднымъ духомъ истиннаго уваженія къ особѣ государя, первый рѣшился не воспѣвать небывалыя божества, но высказывать чувства глубоко-благодарной души къ той, которая, сочувствуя великой идеѣ Петра, была продолжательницею его подвига. И Екатерина поняла Державина — и плакала отъ радости, читая обращеніе поэта къ Фелицѣ:

Слухъ идетъ о твоихъ поступкахъ,
 Что ты нисколько не горда,
 Любезна и въ дѣлахъ и въ шуткахъ,
 Приятна въ дружбѣ и тверда;
 Что ты въ напастяхъ равнодушна,
 А въ славѣ такъ великодушна,
 Что отреклась и мудрой слыть.
 Еще же говорить неложно,
 Что будто навсегда возможно
 Тебѣ и правду говорить.

Неслыханное также дѣло,
 Достойное тебя одной,

Что будто ты народу смѣло
 О всемъ, и въявь, и подъ рукой,
 И знать и мыслить позволяешь,
 И о себѣ не запрещаешь
 И былъ и небыль говорить;
 Что будто самымъ кроводнѣмъ,
 Твоихъ всѣхъ милостей зоилѣмъ,
 Всегда склоняешься простить.

У насъ величали Державина *тѣвцомъ*
Бога, Водопѣва, Суворова, Потемкина, но
 ему можно дать одно только имя — пѣвца
 Екатерины. Онъ знаетъ ее вполнѣ, воспѣвалъ
 не по правиламъ пѣнатики, а по внушенію
 преданнаго сердца, и ея образъ является у
 него во всемъ величїи, озаренный самою вы-
 сокою поэзіею. Сколько истины въ однихъ
 этихъ куплетахъ:

Она вѣщала
 Безчисленнымъ ея ордамъ:
 «Я счастья вашего искала,
 И въ васъ его нашла я вамъ;
 Ставь сами вы себѣ послушны,
 Живите, славьтесь въ мой вѣкъ,
 И будьте столь благополучны,
 Колико можетъ человѣкъ».

«Я вамъ даю свободу мыслить
 И разумѣть себя, цѣнить,
 Не въ рабствѣ, а въ подданствѣ числить,
 И въ ноги мнѣ челомъ не бить;
 Даю вамъ право безъ препоны

Мнѣ ваши нужды представлять,
 Читать и знать мои законы,
 И въ нихъ ошибки замѣчать».

Вотъ благородный голосъ истиннаго уваженія, основаннаго на чувствѣ человѣческаго достоинства! Ободривъ Державина, Екатерина вдохновила его, и онъ изъ сухаго ритора, пресмыкавшагося въ цѣпяхъ ломоносовскаго классицизма, сдѣлался истиннымъ поэтомъ, и державнымъ голосомъ своей лиры прославилъ свою державную покровительницу. Всѣ оды къ императрицѣ Екатеринѣ принадлежатъ къ этому отдѣлу поэзіи Державина, и всѣ онѣ проникнуты сатирическимъ направленіемъ. Доблести Фелицы служатъ поэту идеаломъ: изображая великую монархиню, ея любовь къ законамъ и правосудію, уваженіе къ человѣческому достоинству и покровительство наукамъ и просвѣщенію, онъ тѣмъ самымъ поражаетъ минувшія времена стѣсненія и невѣжества и показываетъ обществу на то, чѣмъ оно было и чѣмъ можетъ быть, продолжая идти по пути къ развитію... Какую поразительную сатиру на отжившее поколѣніе рисуетъ онъ, описывая вѣкъ Фелицы:

О, коль счастливы человеки
Тамъ должны быть судьбой своей,
Гдѣ ангелъ кроткій, ангелъ мирной,
Сокрытый въ свѣтлости порфирной,
Съ небесъ ниспосланъ скиптръ носить!
Тамъ можно пошептать въ бесѣдахъ,
И казни не боясь, въ обѣдахъ
За здравіе царей не пить.
Тамъ съ именемъ Фелицы можно
Въ строкѣ описку поскоблить,
Или портретъ неосторожно
Ея на землю уронить;
Тамъ свадебъ шутовскихъ не парять,
Въ ледовыхъ баняхъ ихъ не жарять,
Не щелбають въ усы вельможъ;
Князья насѣдками не клохчуть,
Любимцы въявь имъ не хохочутъ
И сажей не мараютъ рожъ.

Эта сатира, оригинальная и разнообразная, поставила Державина на степень истиннаго поэта, и еслибы онъ не уклонялся съ этого пути, не увлекался ложнымъ направленіемъ, то, безъ сомнѣнія, сталъ бы на высокой степени историческаго значенія. Къ несчастію, ложныя понятія о поэзіи, господствовавшія въ то время, и недостатокъ образованія отвлекали постоянно Державина отъ его настоящаго призванія — глагола истины и кары. Но и тѣ немногія произведенія, о которыхъ мы говоримъ, даютъ ему право

на имя великаго поэта и на почетное мѣсто въ исторіи поэзіи. Съ кончиною императрицы, которая по словамъ самаго поэта была *подпорой и щитомъ его музы*, уничтожилась божественная струя, одушевлявшая пѣвца, струны его лиры ослабѣли, сатира его замолкла, и онъ изъ вдохновеннаго поэта сдѣлался опять ничтожнымъ панегиристомъ. Восшествіе на престолъ императора Александра пробудило на мигъ вѣщій голосъ престарѣлаго пѣвца, и въ стихахъ *Къ царевичу Хлору* онъ отозвался чѣмъ-то подобнымъ прежнимъ своимъ вдохновеннымъ пѣснямъ. Но это была послѣдняя вспышка угасающаго таланта. Обремененный лѣтами, поэтъ послѣ того почти не существовалъ, и всѣ, написанные имъ потомъ стихи, были совершенно недостойны его, потому-что въ немъ погасло то реторическое одушевленіе, которое господствовало въ прежнихъ торжественныхъ одахъ.

Такъ смотримъ мы на Державина. Въ произведеніяхъ сатирическихъ онъ является оригинальнымъ, великимъ поэтомъ, пѣвцомъ Екатерины, въ одахъ торжественныхъ видимъ въ немъ послѣдователя Ломоносова, предста-

типы варварства, чтобъ потрясти ихъ отвращеніемъ и негодованіемъ; потому сатира, существовавшая у одного въ прямомъ видѣ, въ формѣ посланія, является у другаго въ видѣ комедіи. Вотъ какъ подвинулось впередъ общество въ тѣ четыре десятилѣтія, которыя раздѣляютъ обоихъ писателей!

Такимъ образомъ, негодованіе на враговъ просвѣщенія есть та общая нить, которая связываетъ Кантемира со многими изъ позднѣйшихъ писателей. У Фонвизина эта идея развивается обширнѣе и многостороннѣе, въ слѣдствіе самаго состоянія тогдашняго общества. Онъ сражается не съ однимъ старымъ поколѣніемъ, упорно враждовавшимъ противъ нововведеній, но и съ тѣмъ новымъ невѣжествомъ, которое, дурно понявъ выгоды сближенія съ западомъ, считало ихъ въ одномъ только искорененіи всего русскаго, въ слѣпомъ подражаніи всему иностранному, и съ своей стороны также вредило истинному просвѣщенію. Но какъ то и другое возникало или изъ совершеннаго недостатка воспитанія, или изъ ложнаго понятія о немъ, потому основною идеею Фонвизина было истинное воспитаніе. Эту идею развиваетъ онъ постоянно

во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, доказывая, что *чрезъ воспитаніе* не должно *разумѣть одного питанія*, или понимать совершеннаго отчужденія отъ всего отечественнаго. На этой идеѣ основаны всѣ сочиненія его, — и представителемъ одной стороны ея служить *Недоросль*, а другой *Бригадиръ*. Въ той и другой комедіи мы видимъ невѣжество; но въ первой оно является какъ осадокъ старой грубости, упорно сопротивлявшейся реформѣ, во второй — какъ новая примѣсь, возникшая отъ дурно-понятаго образованія и излишней подражательности.

Въ *Недоросль* выведено на сцену то провинціальное дворянство, которое, не сознавъ благотѣльныхъ видовъ Петра и Екатерины, упорно враждовало противъ просвѣщенія и цивилизаціи, являясь то въ лицѣ фуріи-барыни, сдиравшей кожу съ крестьянъ, то помѣщика, возившагося всю жизнь съ однѣми свиньями, то матушкина сына, записаннаго въ службу и, вмѣсто ученія, лазившаго по голубятнямъ. Въ лицахъ Простаковой, Скотинина, Митрофана—Фонвизинъ рисуетъ современные типы невѣжества. Первая представляетъ идеаль той грубой провинціалки,

которая ненавидитъ науку, если не видитъ возможности извлечь изъ нея выгоды, и всякаго, кто ниже ея по званію, считаетъ недостойнымъ человѣческаго имени. Вотъ что говоритъ она про ученіе:

«Безъ наукъ люди живутъ и жили. Покойникъ батюшка воеводою былъ пятнадцать лѣтъ, а съ тѣмъ и скончаться изволилъ, что не умѣлъ грамотъ; а умѣлъ достаточекъ нажить и сохранить».

Съ невѣжествомъ всегда неразлучна варварская жестокость и неуваженіе къ человѣческому достоинству, и Простакова, при своемъ презрѣніи къ образованію, отличается отвратительными понятіями о человѣческой личности. Въ ея глазахъ крестьяне — не люди...

ПРОСТАКОВА.

Палашка гдѣ?

ЕРЕМЕЕВНА.

Захворала, матушка, лежитъ съ утра.

ПРОСТАКОВА.

Лежитъ! ахъ, она бестія! лежитъ! Какъ будто она благородная!

ЕРЕМЕЕВНА.

Такой жаръ рознялъ, матушка; безъ умолку бредитъ.

ПРОСТАКОВА.

Бредитъ, бестія! какъ будто благородная!

Въ Скотининѣ авторъ представляетъ намъ
ипъ помѣщика, который привыкъ вести жи-
тную жизнь, чуждый человѣческаго обще-
ства и человѣческихъ мыслей. Его гнусная
атура возмущаетъ душу, говоритъ ли онъ о
редѣ ученя, о своей скотской привязан-
ости къ свиньямъ или о своемъ отвратитель-
омъ миролюбіи...

«Хлопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня
сѣди ни обижали, сколько убытку ни дѣлали, я ни на
ого не билъ челомъ; а всякій убытокъ, чѣмъ за нимъ
одить, сдеру съ своихъ же крестьянъ, такъ и концы
воду».

Наконецъ, вмѣстѣ съ ними является
итрофанъ, типъ глупости, отсутствія вос-
итанія, и жертва слѣпой материнской любви,
нованной на одной животной привязанности
чуждой всякаго благороднаго начала.

Этихъ-то исчадій невѣжества и варвар-
ства выставляетъ Фонвизинъ предъ глаза
ублики, во всей наготѣ гнусной ихъ при-
оды.

Въ *Бригадирѣ* является также толпа не-
бждъ, только другаго покроя, которыхъ не-
бжество проистекаетъ не отъ совершеннаго
гчужденія отъ образованія, но отъ ложнаго

понятія о немъ и старанія корчить европейское общество, заимствуя у него не идеи и гражданскую образованность, а одни только пороки и наружный колоритъ цивилизаціи.

Въ лицахъ Иванушки и Совѣтницы поэтъ представляетъ намъ тѣхъ ничтожныхъ глупцовъ, которые вообразили, что истинное образованіе состоитъ только въ передразниваніи иностранныхъ привычекъ и даже пороковъ, что *vivre dans le grand monde* — значить болтать по-французски, а для того, чтобъ сдѣлаться человѣкомъ, европейцемъ, нужно отказаться отъ отечества и перестать быть русскимъ. Посмотрите на Иванушку и его любезную Совѣтницу!

ИВАНУШКА.

Все несчастіе мое состоитъ въ томъ только, что ты русская.

СОВѢТНИЦА.

Это, ангель мой, конечно, для меня ужасная гибель.

ИВАНУШКА.

Это такой *défaut*, котораго ничѣмъ загладить нельзя.

Ясно, что такіе люди были вредны, что они не менѣе закоснѣлыхъ невѣждъ останавливали истинное просвѣщеніе и не менѣе ихъ

заслуживали быть выставлены на позорище и осмѣяны безпощадно въ сатирѣ. Если въ лицахъ, представленныхъ въ Недорослѣ, мы видимъ тѣхъ самыхъ, которыхъ преслѣдовалъ Кантемиръ, то въ Бригадирѣ являются новые типы, еще неизвѣстные ему, которые родились послѣ значительнаго сближенія нашего съ Европою, и какъ ни были отвратительны, однако показывали, что общество получило уже такой толчекъ, такое движеніе, въ которомъ многое могло отклонить его на время отъ истиннаго пути къ просвѣщенію, но ничто не въ состояніи остановить или воротить къ первобытной неподвижности. Шагъ сдѣланъ и шагъ великій!

Почти всѣ комическія лица въ обѣихъ піесахъ Фонвизина взяты изъ дѣйствительной жизни, изображены вѣрно и сильно, носятъ на себѣ печать большаго таланта и иногда напоминаютъ даже лица Гоголя. Но этого нельзя сказать про лица серьёзные: они скучны, неестественны, безжизненны, и всякій разъ, когда Фонвизинъ выходитъ изъ сатирическаго тона, онъ дѣлается ложнымъ и вдается въ скучное резонёрство. Его Софьи, Добролюбы, Правдины и Стародумы —

усыпительны, лишены жизни и значенія. Разговоры Стародума съ Софьею, доказывая любовь къ правдѣ и доброе сердце автора, похожи не на комическія сцены, а на разсужденія, писанныя на ученическую тему о пользѣ добродѣтели, или на *разговоры въ царствѣ мертвыхъ*. Только Стародумъ изъ машинальной куклы становится иногда похожимъ на человѣка, когда одушевляется негодованіемъ къ невѣжеству и злоупотребленію. Серьезныя лица особенно служили Фонвизину для того, чтобъ выразить его мысли о воспитаніи, которое онъ полагалъ «залогомъ благосостоянія государства». Говоря о воспитаніи, онъ преслѣдовалъ не-
благоразумныхъ родителей, которые «воспитаніе сына своего поручаютъ своему рабу крѣпостному»; но вмѣстѣ съ тѣмъ нападалъ и на тѣхъ, кто ввѣряетъ дѣтей иностранцамъ, не спрашивая ктѣ они и выбирая Вральмановъ и Шевалье Какаду. Въ этомъ отношеніи замѣчательнъ его *Вечеръ у княгини Халдиной*, гдѣ въ лицѣ Сорванцова показаны пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія въ человѣкѣ умномъ и благородномъ отъ природы.

Смотря на Фонвизина какъ на представителя вѣка, нельзя не признать его важнѣйшимъ дѣятелемъ его эпохи, коснувшимся самыхъ живыхъ общественныхъ интересовъ. Хотя онъ не можетъ быть названъ истиннымъ поэтомъ, хотя мнѣнія его не отличались постоянствомъ и твердостію, и онъ то платилъ дань скептицизму въ *Посланіи къ Шумилову*, то увлекался ненавистью къ французскому обществу и дѣлался *стародумомъ*;—однако его идеи, полныя сочувствія къ народнымъ потребностямъ и часто воспроизводимыя въ художественной формѣ, не позволяютъ отказать ему въ значеніи самаго даровитаго писателя своего времени. Однимъ словомъ, всѣ идеи Фонвизина посвящены вопросу, въ послѣдстіи предложенному имъ въ *Собесѣдникѣ*, — «какъ истребить два сопротивныя и оба вреднѣйшіе предразсудка: первый, будто у насъ все дурно, а въ чужихъ краяхъ все хорошо; второй, будто въ чужихъ краяхъ все дурно, а у насъ все хорошо»?— вопросу, на который императрица Екатерина мудро отвѣчала въ томъ же журналѣ: «временемъ и знаніемъ!»

III.

Жуковский, Ватюшковъ и Крыловъ.

Между тѣмъ готовился переворотъ въ основныхъ началахъ творчества, который долженъ былъ сокрушить дряхлое зданіе классицизма и открыть новый путь для поэзіи. Еще въ XVII вѣкѣ въ Англіи, Германіи и Франціи были люди, признававшіе вполнѣ ложность господствующихъ понятій. Въ слѣдующемъ столѣтіи явились мыслители, которые сильнѣе начали подкапывать ветхое и тяжелое зданіе классической теоріи; но оно все еще держалось, благодаря послѣднимъ, отчаяннымъ усиліямъ классиковъ. Видно было, что человечество готовится къ новой жизни, но эта потребность не признавалась еще вполнѣ во Франціи, бывшей законодательницею вкуса и руководительницей Россіи. Не смотря на то, что Бернарденъ де Сентъ-Пьеръ и Жанъ-Жакъ Руссо, сбросивъ тяжелыя цѣпи отжилыхъ по-

натій, кинулись съ увлеченіемъ страсти въ объятія природы, что явился *Вертеръ*, и великій Гёте сказалъ: «одна только природа творитъ поэтовъ», — дряхлый классицизмъ держался въ своей истлѣвшей мантии и щеголялъ въ ветхой, изодранной маскѣ. Изъ среды его показались люди, которые, не понявъ новыхъ идей, видѣли въ *Вертерѣ*, *Элоизѣ*, *Павлѣ и Virginii* только наружную сторону, и принимая эти произведенія за какія-то идилліи, находили въ нихъ одну сельскую природу и чувствительность. Они обратились къ этой природѣ; но не имѣя силъ отстать отъ своихъ старыхъ вѣрованій, вздумали украшать ее, переноса въ современную жизнь нравы *Θεокритовъ* и *Виргиліевъ* и пастушеское счастье *золотога вѣка*. Это были послѣднія усилія издыхающаго классицизма и, вмѣстѣ съ тѣмъ, темно сознаваемые стремленія къ перерожденію общества. Поэзія превратилась въ вертепъ сельской любви и слезной чувствительности, торжественная ода замолкла, и *вой лиръ* смѣнился плачемъ и вздохами.

Это новое стремленіе отразилось и на русской поэзіи. Въ концѣ XVIII вѣка явился

Карамзинъ. Одаренный свѣтлымъ умомъ, но лишенный поэтическаго таланта, этотъ чловѣкъ не могъ не подчиниться вліянію сентиментальной школы, такъ сообразной съ его личнымъ характеромъ, и пересади́лъ новое растеніе на русскую почву.

Въ 1792 году явилась его *Бѣдная Лиза*, содержаніе которой взято, кажется, изъ разсказа Вертера объ утопившейся бѣдной дѣвушкѣ ¹⁷⁾. Какъ ни была неестественна эта сказка, въ которой русская крестьянка представлена какою-то наивною *Виргиніею*, влюбленною платонически и оканчивающею жизнь самоубійствомъ; но она имѣла необыкновенный успѣхъ и породила множество читателей тамъ, гдѣ почти не существовало до тѣхъ поръ никакой публики. Отчего же произвела такое дѣйствіе невѣроятная повѣсть, искаженіе романовъ Гёте и Бернарденъ де Сентъ-Пьера, въ которой все противорѣчило нравамъ и жизни, гдѣ вмѣсто истиннаго чувства являлась сладенькая чувствительность? Оттого, что русскіе въ первый разъ увидѣли въ поэзіи попытку на сближеніе съ природою, и нашли не вуюль, но что-то похожее на людей съ сердцемъ и душою. Вотъ

причина успѣха Бѣдной Лизы и значеніе Карамзина въ исторіи нашей поэзіи, несмотря на то, что онъ былъ только умнымъ человѣкомъ, а не поэтомъ. Не имѣя силъ понять Шекспира, Гёте и Шиллера, онъ не въ состояніи былъ сдѣлаться романтикомъ, но воспитавъ себя *въ любезномъ сердцу лонгъ натуры*, не могъ сочувствовать и ложному классицизму, а потому необходимо долженъ былъ пристать къ той сентиментальной школѣ, которой отчасти заплатилъ дань и самъ Гёте. Одаренный изящнымъ вкусомъ и обширнымъ умомъ, Карамзинъ принесъ большую пользу поэзіи тѣмъ, что нанесъ сильный ударъ классицизму и заговорилъ въ первый разъ живымъ, доступнымъ сердцу языкомъ. Какъ ни ложны и неестественны были его повѣсти, но онѣ стояли неизмѣримо выше всѣхъ одъ и эпическихъ поэмъ, эклогъ и идиллій, которыми угощали до тѣхъ поръ русскихъ читателей: если въ *Наталь боярской дочери* и *Маретъ посадницъ* не было ничего русскаго, то въ нихъ было уже много человѣческаго, доступнаго сердцу, и публика откликнулась на этотъ новый голосъ и прочла Карамзина съ восторгомъ.

водили въ восторгъ публику, и вполне заслуживали его, потому что, несмотря на отсутствіе державинскаго одушевленія и красокъ, были выражены полнѣе, безъ повтореній и водяной растянутости, и отличались сильнымъ, выразительнымъ языкомъ, легкостію и красотою стиха, до тѣхъ поръ неизвѣстными. Пѣсни и сказки Дмитріева, подобно пѣснямъ и сказкамъ Карамзина, были проникнуты сентиментальностію, но лишены чувства и проблесковъ народности, которые являлись иногда въ пѣсняхъ Мерзлякова.

Это сентиментальное направленіе, данное поэзіи Карамзинымъ и продолженное Дмитріевымъ и Озеровымъ, отразилось на цѣлой толпѣ послѣдователей, и, какъ обыкновенно бываетъ, эти послѣдователи, не понявъ истиннаго значенія своихъ образцовъ, бросились болѣе на ихъ слабыя стороны. Подражатели Карамзина заняли у него одни только недостатки, приторную меланхолію, сладенькую чувствительность, театральную грусть, идиллическую нѣжность, и принялись воспѣвать

Правы невинныхъ, кроткихъ пастушекъ,
Вздохи, утѣхи, любовь.

Какъ ни смѣшна была эта школа *чувствительныхъ сердецъ*, какъ ни ложно смотрѣла она на природу и человѣческое сердце, однако принесла пользу, разорвавъ послѣднія лохмотья классицизма и приготовивъ публику къ появленію идей романтическихъ, которыя должно было обновить нашу поэзію для новой жизни. Вольтеръ сказалъ великую истину, говоря, что *l'erreur a son mérite*.

Не смотря на повсемѣстное господство классицизма, самобытная поэзія европейскихъ народовъ, — которой источникомъ служили преданія, христіанскія легенды и старинные романсы, уцѣлѣвшіе отъ среднихъ вѣковъ, — совершала въ тишинѣ свою жизнь и наконецъ восторжествовала надъ ложнымъ направленіемъ. Нѣмцы и англичане, на которыхъ менѣе отражалось вліяніе классическаго міра, изучивъ характеръ древности и среднихъ вѣковъ и истинное значеніе поэзіи грековъ и римлянъ, бросили тяжелыя цѣпи старыхъ понятій. Тогда настала пора перерожденія и для Франціи. Во второй половинѣ XVIII столѣтія она познакомилась съ Шекспиромъ и узнала Гёте. Вслѣдъ за тѣмъ Шенье, усвоивъ красоты и духъ греческаго міра, пока-

залъ разницу между классицизмомъ древнихъ, возникшимъ изъ ихъ природы и нравовъ, и ложнымъ классицизмомъ, созданнымъ произвольною теорією; а Мерсье, переводомъ на французскій языкъ Шиллера, и Сталь, знаменитымъ сочиненіемъ о *Германи*, обратили взоры французовъ на нѣмецкую поэзію, гдѣ элементы, проявившіеся въ общественной жизни среднихъ вѣковъ, и не имѣвшіе ничего общаго ни съ древнимъ классицизмомъ грековъ и римлянъ, ни съ новымъ ложнымъ подражаніемъ ему, произвели уже направленіе, названное *романтическимъ*, представителемъ котораго былъ Шиллеръ.

Подобная реформа совершилась и въ русской поэзіи, бывшей постоянно подъ вліяніемъ французскихъ идей. Хотя Аблесимовъ, въ своемъ *Мельникъ*, и Фонвизинъ, въ *Недорослѣ* и *Бригадирѣ*, старались вырваться изъ оковъ ложнаго классицизма, однако самыя усилія Карамзина и его послѣдователей, которые стремились къ сближенію съ природою, не могли вполне сокрушить его. Онъ держался у насъ, также какъ и во Франціи, до тѣхъ поръ, пока мы не познакомились, подобно французамъ, съ новѣйшею поэ-

зією нѣмцевъ и англичанъ, и не усвоили ея животворнаго элемента. Важнѣйшимъ дѣятелемъ на этомъ поприщѣ является Жуковскій, поэтъ по преимуществу романтическій.

Онъ началъ свою дѣятельность въ такое время, когда французскій классицизмъ отжилъ у насъ совершенно, когда Карамзинъ, сблизивъ поэзію съ природою, хотя и по ложному пути, пробудилъ общество къ новой жизни и новымъ идеямъ. Покоряясь обаятельной силѣ генія Шиллера, Жуковскій началъ подражать ему и переводить его произведенія. Поэзія наша, не согрѣваемая до тѣхъ поръ никакимъ чувствомъ, вдругъ прониклась живоноснымъ источникомъ романтизма. Въмѣсто уродливыхъ твореній Сумарокова и Хераскова, безсердечной поэзіи Державина и приторной чувствительности Карамзина, русское общество услышало страстный языкъ сердца, любящаго и страдающаго, глубокую тоску души, пронизанную грустью о непрочности жизни и вѣчнымъ стремленіемъ къ иному существованію, души скорбящей по дѣйствительному и стремящейся къ идеальному. Все это заимствовалъ Жуковскій у Шиллера и тѣхъ нѣмецкихъ и англійскихъ

поэтовъ, у которыхъ онъ находилъ что-нибудь романтическое. Переводы изъ Шиллера были истиннымъ призваніемъ Жуковскаго; онъ усвоялъ идеи нѣмецкаго поэта съ тою воспріимчивостью, которая составляетъ отличительное свойство русскаго ума и объясняетъ перерожденіе, какое совершилось съ Россією въ теченіи одного вѣка. Муза Жуковскаго до такой степени была родственною музѣ Шиллера, что всѣ переводы изъ нѣмецкаго пѣвца проникнуты вполне его духомъ. Но этого нельзя сказать о переводахъ изъ Гёте и Байрона. *Шилонскій узникъ*, несмотря на удивительную красоту стиховъ, такъ близкихъ къ подлиннику, что самые эпитеты можно сравнивать буквально, — по духу всей піесы отличается отъ характера оригинала: мрачное, спокойное, холодное отчаяніе Байрона превратилось у Жуковскаго въ вопль мучительной скорби и подавляющаго страданія.

Какъ поэтъ оригинальный, Жуковский не имѣетъ вовсе такого значенія и принадлежить къ реторической школѣ, а притязанія его на народность совершенно напрасны. *Двѣнадцать спящихъ дѣвъ* (передѣланныя изъ

романа Шписа), *Свѣтлана, Пѣснь барда надъ
тробомъ славянъ* и всѣ подобныя стихотворе-
нія доказываютъ, что у него не было ни-
какихъ другихъ элементовъ, кромѣ шилле-
ровскаго романтизма. Въ нихъ встрѣчаются
поэтическія мѣста только тамъ, гдѣ, вѣрный
этому романтизму, поэтъ задумывается о зем-
ной жизни и груститъ по небѣ. Что касается
до *Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ и Пѣвца
на Кремль*, то, отдавая справедливость поэту
въ его патріотическихъ чувствахъ, должно од-
нако согласиться, что въ этихъ стихотворе-
ніяхъ народнаго также мало, какъ въ поэ-
махъ Хераскова, а изысканнаго и неесте-
ственного нисколько не менѣе. Этотъ *пѣвецъ*,
ударяющій *во струны арфы предъ сонмомъ
вождей славянъ*, когда не было на свѣтѣ ни
арфъ, ни славянъ, а были русскіе солдаты
и барабаны, неудобные для воспѣванія гим-
новъ, — эти *щиты, копья, мечи и кольчуги* въ
вѣкѣ штыковъ, пушекъ и мундировъ, все
напоминаетъ о риторической напыщенности
XVIII вѣка и свидѣтельствуетъ объ отсут-
ствіи истиннаго чувства. Первое стихотворе-
ніе оправдывается, по крайней мѣрѣ, цѣлью
и временемъ, для котораго было написано;

второе вовсе не имѣть достоинства и похоже на какой-то блѣдный, безхарактерный очеркъ, гдѣ вмѣсто людей являются *примитивныя*. Обѣ эти піесы, по духу и идеямъ, сходны съ *Гимномъ миро-этическимъ* Державина, съ тою только разницею, что въ послѣднемъ Наполеона называютъ *зміевиднымъ демономъ, сатаниномъ и антихристомъ*, а въ первыхъ только *убителемъ и убійцею*.

Такимъ образомъ, Жуковскій, какъ поэтъ оригинальный, не имѣетъ никакого значенія; но какъ геніальный переводчикъ и подражатель, познакомившій русское общество съ романтическими идеями Шиллера, принадлежитъ къ числу важнѣйшихъ дѣятелей нашего вѣка, и всегда будетъ занимать почетное мѣсто въ исторіи литературы.

Въ одно время съ Жуковскимъ выступилъ на поэтическое поприще Батюшковъ. Какъ стихіею перваго была романтическая поэзія новыхъ европейскихъ народовъ, такъ элементъ втораго составляла классическая поэзія древнихъ. Жуковскій, слѣдуя своему назначенію, сроднился съ идеями Шиллера; Батюшковъ началъ свое воспитаніе съ Парни и Шенье. Призванный познакомить русскую поэзію съ

изящнымъ міромъ древней Греціи, съ красотою ея античнаго искусства, онъ совершилъ свое назначеніе блистательнымъ образомъ. Изучая его произведенія, мы можемъ отнести къ нему собственныя его слова:

Подъ сумрачнымъ родился небомъ,
Но будто въ Атикѣ рождень.

Въ произведеніяхъ Батюшкова русскіе въ первый разъ услышали очаровательные звуки древней лиры, и почувствовали вѣяніе того духа, которымъ проникнуты классическія созданія Греціи и Рима. Переводилъ ли онъ эпиграммы изъ греческой антологіи или римскія элегіи Тибулла, въ его стихахъ звучала гармонія и дышало чувство, уклекавшая душу въ міръ эстетической древности. Многія собственныя сочиненія его кажутся отрывками изъ греческой антологіи, такъ умѣетъ онъ доводить мысль до безыскусственной простоты и придавать ей античный оборотъ. Даже въ переводахъ изъ Парни видѣнъ характеръ древней поэзіи, котораго нѣтъ нисколько въ оригиналѣ: таково стихотвореніе *Вакханка*, взятое изъ поэмы *Les Déguisements de Vénus*.

Какъ Жуковский былъ преимущественно пѣвецъ жизни загробной, такъ предметъ пѣсней Батюшкова — радости и печали земной жизни. У него не найдете неопредѣленной грусти и неяснаго стремленія въ невѣдомый міръ, а встрѣтите наслажденія жизнию и жажду удовольствій. Его муза не грустная, страждущая дѣва, съ блѣднымъ, задумчивымъ лицомъ и очами устремленными въ безконечную даль,—но прелестная, полунагая краса-вица, иногда задумывающаяся о кратковременности счастія и наслаждений, но больше безпечно-веселая, упоительно-страстная, раскинувшаяся *на ложъ изъ цвѣтovah* и, въ ожиданіи возлюбленнаго, млѣющая въ огнѣ желаній. По чувственнымъ картинамъ красоты и любви, по сладострастному взгляду на жизнь Батюшковъ сроденъ съ Парни; по античной красотѣ картинъ и пластическому выраженію мысли, по чувственности, нѣжной, можно сказать одухотворенной, онъ приближается къ Шенье. Безпрестанно встрѣчаются у него картины, напоминающія этихъ поэтовъ: онъ то нисходитъ до наглаго, циническаго сладострастія Парни, то возвышается до цѣломудренной, дѣвственной чистоты Шенье; то

поэзія его похожа на обольстительную, раздражающую картину, то на статую, которая возбуждает удивленіе, но не чувственность. Сенсуализмъ древняго міра и пластическая красота греческаго искусства были отличительными чертами таланта Батюшкова. Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ говоритъ, что въ Парижѣ болѣе всего поразили его статуя Апполона Бельведерскаго и ножки французенокъ: вотъ два элемента его поэзіи,—міръ классической древности и область чувственной красоты.

Изъ этого видно, что Батюшковъ имѣетъ у насъ такое же значеніе, какъ Андрей Шенье у французовъ. Ему суждено было оживить нашу поэзію духомъ классической древности, который, слившись съ струею романтизма, внесеннаго Жуковскимъ, обновилъ русскую литературу и вдохнулъ въ нее новую жизнь. До Батюшкова мы не знали древней поэзіи; онъ подарилъ намъ прелестный вѣнокъ, сплетенный изъ самыхъ благоуханныхъ цвѣтовъ, собранныхъ подъ небомъ Эллады и Авзоніи, въ который прибавилъ еще нѣсколько прекрасныхъ прозябеній скандинавскаго сѣвера. Лучшія произведенія его—*Переводы изъ грече-*

ской антологіи и элегіи *Умиращій Тассъ и Развалины замка въ Швеціи*. Заслуга Батюшкова въ отношеніи внѣшней обработки стиха еще важнѣе и превосходитъ заслугу Жуковскаго. Въ стихѣ его нѣтъ, правда, гибкости и теплоты, но онъ чистъ и мягокъ, какъ паросскій мраморъ, и достигаетъ иногда удивительной нѣжности и гармоніи. Таково начало стихотворенія *Тнь друа*. Не смотря на то, что Батюшковъ въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ кончилъ свою поэтическую дѣятельность, онъ занялъ въ исторіи нашей литературы мѣсто на ряду съ Жуковскимъ, какъ одинъ изъ обновителей поэзіи, имѣвшій большое вліяніе на Пушкина.

Вмѣстѣ съ Батюшковымъ дѣйствовалъ на томъ же самомъ поприщѣ Гнѣдичъ. Его переводъ *Иліады* также способствовалъ нѣсколько тому, чтобъ познакомить насъ съ духомъ древней Греціи и величайшаго ея представителя, Гомера. Къ несчастію, ошибочное употребленіе оборотовъ старинаго славянскаго языка, тяжелаго и невыразительнаго, было причиною, что переводъ Гнѣдича не произвелъ впечатлѣнія на общество, и не

имѣлъ такого вліянія на поэзію, какъ произведенія Батюшкова.

Но между тѣмъ какъ ложно-классическая школа перерождалась въ романтическую, и русская поэзія сближалась съ идеями нѣмецкой и англійской и знакомилась съ духомъ древности, сатира продолжала свою самобытную жизнь, преслѣдуя грубые элементы старыхъ нравовъ и новый наростъ пороковъ, возникшій изъ дурно-понятаго образованія.

Однимъ изъ злополучныхъ остатковъ допетровской Руси была гнусная язва продажности законовъ и нарушенія справедливости, которая составляла самую ужасную болѣзнь общества. Мы видѣли, что еще Кантемиръ вооружался на этотъ зловердный остатокъ варварства, и Сумароковъ неутомимо сражался съ канцелярскимъ съменемъ. Въ концѣ прошлаго вѣка неправосудіе нашло новаго сильнаго врага въ лицѣ Капниста, который возсталъ на него въ сатирической комедіи *Ябеда*. Эта піеса, не имѣя въ себѣ ничего комическаго и художественнаго, не заключая даже ни одного типическаго характера, какъ комедіи Фонвизина, принесла однако большую пользу своимъ энергическимъ нападеніемъ на пре-

зрѣвшихъ исполнителей священныхъ законовъ. Въ ней взяточничество и продажность совѣсти выставлены на позорище въ самой отвратительной наготѣ, съ самой грязной стороны ихъ гнусной натуры. Нельзя безъ негодованія читать сценъ, гдѣ авторъ выводитъ крючкотворцевъ и ябедниковъ, для которыхъ права состояли въ однихъ деньгахъ, а многочисленность законовъ служила источникомъ козней. Вотъ какъ говорятъ въ комедіи Капниста эти вырожденіи татарщины:

Кривосудовъ.

Тутъ надобенъ указъ, иль право, иль законъ.

Фекла.

Законовъ столько!

Кривосудовъ.

Такъ.

Фекла.

Указовъ миллионъ!

Кривосудовъ.

И это истинно.

Фекла.

Правъ цѣлая громада!

Кривосудовъ.

Все неоспоримо.

ФЕКЛА.

Ну! такъ чего же надо?

Кривосудовъ.

Безумна! надобно такой законъ прибрать,
Чѣмъ виноватаго могли бы оправдать.

Эта комедія пользовалась большою славою и вполне заслуживала ее, благодаря своей прекрасной цѣли; но по совершенному отсутствію художественности и комизма, по грубости и мертвой неподвижности стиховъ, давно потеряла значеніе. Мы не читаемъ болѣе Ябеды, и только одинъ ея стихъ сдѣлался народною пословицею, до сихъ поръ несовсѣмъ забытою:

Законы святы,
Но исполнители лихіе супостаты.

Въ то же время у насъ господствовала школа панегиристовъ; меценатство и страсть къ торжественнымъ одамъ были во всей силѣ, и поэтъ не считалъ постыднымъ пресмыкаться по переднимъ и льстить милостивцамъ и благодѣтелямъ. На эту толпу панегиристовъ напали Милоновъ и Дмитріевъ. Оба они не были поэтами и принадлежали, съ одной стороны, къ реторической школѣ, но

ихъ идеи въ сатирѣ даютъ тому и другому почетное мѣсто въ исторіи нашей поэзіи.

Милоновъ возсталъ съ благородной энергіею на униженіе великаго званія поэта. Онъ съ негодованіемъ преслѣдовалъ тѣхъ жалкихъ скомороховъ, которые превратили поэзію въ источникъ матеріальныхъ выгодъ, въ средство для приобрѣтенія милостей и денегъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нападалъ на самое общество, укрывавшее подъ своей защитой такихъ низкихъ и презрѣнныхъ искажителей истины. Осмѣивая бездарнаго продавца поддѣльнаго восторга, Милоновъ воскликаетъ:

Стихи свои хвалой наполни гнусныхъ дѣлъ,
Будь дерзокъ, подлъ и льстецъ — и слава твой удѣлъ!

И говоря о современномъ обществѣ, онъ прибавляетъ:

Найдутся многіе, которые простятъ
Безсмыслицѣ твоей за то, что въ ней узрятъ
И цѣль полезную и рвеніе благое...

Еще сильнѣйшимъ врагомъ этого общественнаго порока былъ Дмитріевъ. Въ переводѣ *Ювеналовой сатиры о благородствѣ* и въ *Посланіи Попа къ Арбутноту* онъ выражаетъ негодованіе на невѣждъ-меценатовъ, гордыхъ

не образованіемъ, а богатствомъ и титулами, на бездарныхъ стихоплетовъ, марателей бумаги, и безсовѣстныхъ критиковъ, *уставщи-ковъ кавыкъ*. Но съ особеннымъ жаромъ преслѣдуетъ онъ въ сатирѣ *Чужой толкъ* нашихъ доморощенныхъ *Пиндаровъ*, воспѣвателей побѣдъ и праздниковъ, поставщиковъ лести и низкопоклонства. Какъ остроумно пародируетъ Дмитріевъ ихъ оды, или *реляции въ стихахъ*, какъ зло осмѣиваетъ ихъ *Фебосъ*, *райскіе кринны* и всѣ надутые возгласы, какъ благородно разить льстецовъ, которыхъ цѣлью была

Награда перстенькомъ,
Нерѣдко сто рублей, иль дружество съ князькомъ!

Сатиры Милонова и Дмитріева принесли пользу нашей поэзіи, унизивъ торжественную оду и заказное стихотворство.

Сатирическое направленіе появилось также у Дмитріева въ нѣкоторыхъ басняхъ и сказкахъ, гдѣ мелькаютъ тѣ же идеи, которыя господствовали въ произведеніяхъ Канремира и Фонвизина, — идеи истиннаго воспитанія и презрѣнія къ врагамъ просвѣщенія. Итакъ, платя дань ложно-классической и сентиментальной школѣ въ лирическихъ стихо-

твореніяхъ, пѣсняхъ и отчасти сказкахъ, онъ является въ сатиру писателемъ, нечуждымъ сочувствія къ общественнымъ интересамъ.

Но важнѣйшимъ представителемъ сатиры въ эту эпоху былъ Крыловъ, величайшій изъ баснописцевъ. Здѣсь необходимо сказать о томъ глубокомъ и важномъ значеніи, какое имѣетъ у насъ басня. Въ такомъ обществѣ какъ русское, гдѣ со времени преобразованія виднѣлась борьба самыхъ противоположныхъ началъ, гдѣ европейская цивилизація сталкивалась съ азіатской нетерпимостію, — идея не всегда могла являться въ наготѣ, но требовала нерѣдко прикрытія, и прикидывалась то арлекиномъ, чтобъ высказать горькую истину, то наивнымъ простакомъ, чтобъ бросить непріятный упрекъ тѣмъ, кого не могла преслѣдовать явно. Скрываясь подъ покровомъ аллегоріи, для того, чтобъ *не раздражить гусей*, она пользовалась маскарадной свободою и высказывала такіа смѣлыя истины, которыхъ не отважилась бы никогда выговорить съ открытымъ лицомъ. Вотъ причина, почему басня получила у насъ значеніе, какого никогда не имѣла на западѣ, почему она принялась у русскихъ лучше, не-

жели у другихъ народовъ, и достигла высокаго совершенства. Въ ней отразилось то сатирическое направленіе, которое постоянно проявлялось со временъ Петра. Первымъ баснописцемъ у насъ былъ Хемницеръ, современникъ Державина и Фонвизина, потому-что опыты Тредьяковскаго и Сумарокова не заслуживаютъ вниманія. Дмитріевъ превосходилъ Хемницера достоинствомъ стиховъ, но стоялъ ниже по содержанію, и въ бѣльшей части басенъ былъ только переводчикомъ. Наконецъ явился Крыловъ. Въ его басняхъ сатира расширила кругъ своей дѣятельности, явилась многостороннею и разнообразною: она коснулась и общественныхъ недостатковъ, на которые нападали Кантемиръ, Сумароковъ, Фонвизинъ и Капнистъ, и сверхъ того обратила вниманіе на вопросы, до тѣхъ поръ остававшіеся неприкосновенными. Крыловъ выводитъ на сцену и судью съ *пушикомъ на рыльцѣ*, и невѣжду, разбивающаго очки за то, что не можетъ читать сквозь нихъ, не зная грамотѣ, и *бумажнаго змѣя*, готоваго всю жизнь для забавы другаго трещать на привязи, и *собачку Жужу*, попадающую въ случай за умѣнье ходить на заднихъ лапкахъ; у него являют-

ся и *медведь*, осужденный за покражу меда въ отставкѣ пролежать въ берлогѣ, и побѣдоносный *булатъ*, забытый посреди стараго хлама, и *бѣлка*, награжденная за службу орѣхами, въ то время когда у нея не стало зубовъ, и *кошка*, заставляющая пѣть соловья въ когтяхъ своихъ, и *муси*, гордые заслугами капитолійскихъ предковъ. Часто Крыловъ касается самыхъ великихъ интересовъ народной жизни, рѣшаетъ самые важные общественные вопросы, какъ напримѣръ въ баснѣ *Пушки и Паруса*. Иногда его поэзія, изъ колкой, остроумной, насмѣшливой сатиры, переходитъ въ высокую, благородную, одушевленную пѣсню, подобную державинскимъ гимнамъ Фелицѣ. Такъ, описывая полузавядшій *Василекъ*, оживленный небеснымъ взоромъ солнца, поэтъ восклицаетъ:

О вы, кому въ удѣлъ судьбою данъ
Высокій санъ!

Вы съ солнца моего примѣръ себѣ берите!

Смотрите :

Куда лишь лучъ его достигнетъ, тамъ оно
Былинкѣ ль, кедру ли — благотворить равно,
И радость по себѣ и счастье оставляетъ;
За то и видъ его горитъ во всѣхъ сердцахъ—
Какъ чистый лучъ въ восточныхъ хрусталяхъ,
И все его благословляетъ.

Какъ въ сатирахъ Кантемира, подъ вымышленными именами Хироновъ и Менандровъ, скрывались извѣстные лица, такъ у Крылова есть басни, гдѣ онъ, въ видѣ животныхъ, выводитъ нѣкоторыхъ изъ своихъ современниковъ, характеризуя ихъ съ удивительной вѣрностью и искусствомъ. Такова басня *Волкъ на псарнѣ*, гдѣ поэтъ оригинально и остроумно изобразилъ отечественную войну и вывелъ Наполеона и Кутузова...

Произведенія Крылова отличаются высокою художественностью и народнымъ духомъ. Русскою поэзіи не доставало элемента, безъ котораго она не могла войти въ тѣсную связь съ общественной жизнью, — въ ней не было народности. У Державина и Фонвизина являлись, правда, нѣкоторыя черты ея, но онѣ были рѣдки и слабы, а Жуковский и Батюшковъ, по роду таланта, могли только пересаживать на русскую почву чужое, а не растить самобытное. Наконецъ Крыловъ обратилъ вниманіе на этотъ животворный элементъ. Онъ первый попытался выразить духъ русскаго народа, показать его умъ и разумъ, его философію и воззрѣніе на жизнь, его завѣтныя думы и чувства, — первый загово-

IV.

Пушкинъ и Грибоѣдовъ.

Съ именемъ Пушкина соединяется мысль о поэтѣ-художникѣ, котораго произведенія, сливая всѣ животворные источники искусства, заключаютъ цѣлый міръ жизни и поэзіи. Онъ, можно сказать, поглотилъ идѣи всѣхъ предшествовавшихъ поэтовъ, овладѣвъ и романтизмомъ Жуковского, и народнымъ духомъ Крылова, и пластическою красотою мысли и стиха Батюшкова, и всѣ эти элементы разработалъ, развилъ до многосторонняго значенія и совершенства. Но прежде, чѣмъ будемъ говорить о значеніи Пушкина, бросимъ взглядъ на его постепенное развитіе, посмотримъ, по какимъ ступенямъ восходилъ онъ до той высоты, на которой стоитъ теперь и останется навсегда.

Жизнь Пушкина можно раздѣлить на три эпохи, отличныя одна отъ другой характе-

ромъ его поэтической дѣятельности и важности созданій. Первый періодъ начинается съ лицейскихъ опытовъ и оканчивается Русланомъ и Людмилою, второй открывается Кавказскимъ Пльнникомъ и замыкается Евгеніемъ Онѣгинымъ, къ третьему принадлежать послѣдніе годы дѣятельности поэта съ появленія Полтавы. Въ первомъ періодѣ характеръ его поэзіи носитъ печать разгульной жизни, дышетъ вакхическимъ весельемъ; во второмъ отличается духомъ разочарованія и притомъ сочувствіемъ къ интересамъ современнаго общества; въ третьемъ становится чисто-художественнымъ, но чуждымъ общественныхъ потребностей и идей. Разсмотримъ эти три эпохи.

Пушкинъ получилъ воспитаніе болѣе свѣтское чѣмъ классическое, болѣе поверхностное чѣмъ достойное его таланта, и только геніальный умъ и обширное чтеніе могли отчасти вознаградить ему то потерянное время, когда онъ

Въ садахъ лица
Читалъ охотно Апулея,
А Цицерона не читалъ.

Будучи еще ученикомъ, онъ сталъ заниматься

поэзією и началъ съ подражаній. Первыми учителями его были Державинъ и Жуковскій; но заплатя имъ дань во многихъ стихотвореніяхъ, и особенно въ *Воспоминаніяхъ о Царскомъ Селѣ*, онъ скоро оставилъ ихъ далеко за собою. Въмѣсто риторическихъ одъ Державина, въ послѣдствіи явились у него *Наполеонъ*, *Пиръ Петра Великаго*, гдѣ не воспѣвался уже *громъ побѣды*, а говорилось о примиреніи съ великою тѣнью Наполеона и прославлялся подвигъ царя, изрекающаго торжественное прощеніе подданному. Въмѣсто романтическихъ балладъ Жуковского, неопредѣленныхъ и туманныхъ, показались наконецъ *Женихъ*, *Бѣсы*, созданія истинно-художественныя, вполне проникнутыя русскимъ духомъ. Элементы Батюшкова и Крылова были такъ же плодотворны для многосторонняго духа Пушкина. У одного онъ взялъ пластическую форму мысли и стиха, колоритъ классической древности, и не зная греческаго языка, умѣлъ такъ сродниться съ эллинскимъ духомъ, что его *Муза*, *Отрокъ* и другія антологическія стихотворенія, могутъ стоять на ряду съ лучшими произведеніями Шенье. У другаго усвоилъ онъ элементъ народ-

ности, и развилъ его до такой полноты, что не только сдѣлался потомъ народнымъ поэтомъ въ *Утопленникъ* и другихъ піесахъ, но даже возвысился въ послѣдствіи до многосторонней національности. Впрочемъ, не эти одни поэты имѣли вліяніе на Пушкина въ первомъ періодѣ его жизни. Въ одномъ изъ посланій онъ исчисляетъ любимыхъ писателей, своихъ *парнасскихъ жрецовъ*, и мы находимъ здѣсь Богдановича, Лафонтена, Вержье, Парни, *злаго крикуна фернейскаго*, и наконецъ *сафьянную тетрадь*, въ которой заключались *пье* Буянова и другія сочиненія, презрѣшія печать.

Понятно, какое вліяніе произвело короткое знакомство съ такими писателями на юношу, едва начинавшаго жить, горячаго, пылкаго, который не получилъ прочнаго умственнаго и нравственнаго воспитанія, и на первомъ шагѣ въ свѣтъ попалъ въ кругъ разгульной молодежи. Вольтеръ, Парни и особенно послѣдній, сдѣлались его поэтическими корифеями, и онъ заплатилъ имъ дань во многихъ лицейскихъ стихотвореніяхъ. Его *Леда*, *Фавнъ* и *Пастушка* написаны подъ ихъ вліяніемъ и отличаются тѣмъ же разки-

ческимъ весельемъ и сладострастіемъ. Впрочемъ, въ самыхъ подражаніяхъ Пушкинъ былъ великъ и нерѣдко превосходилъ своихъ образцовъ; его *Прозерпина*, переведенная изъ поэмы Парни *Les Déguisements de Vénus*, отличается такими красками, какихъ вовсе нѣтъ въ подлинникѣ. Это вліяніе было довольно продолжительно, и хотя въ послѣдствіи Пушкинъ началъ мало по малу освобождаться отъ него, хотя послѣ подражаній Парни начали появляться художественныя созданія, *Вакхическая пѣсня*, *Торжество Вакха*, и онъ отъ цинизма автора *La Guerre des dieux* перешелъ къ дѣвственной, античной музѣ Шенье, однако слѣды французской школы долго не могли совершенно изгладиться, и отражались даже на позднѣйшихъ его произведеніяхъ. Послѣднимъ прощаньемъ съ этой школою была первая его поэма *Русланъ и Людмила*, въ которой вполне высказалось вліяніе Парни, Аріоста, Лафонтена и Богдановича. Эта пѣса была не что иное какъ сказка, въ родѣ аріостова *Orlando furioso*, и содержаніемъ ея послужили искаженные преданія, въ которыхъ было очень мало русскаго. Впрочемъ, самые недостатки

этой поэмы служили къ ея славѣ: юношеская неопытность и увлеченіе, веселыя картины, неистощимая шутка и страсть къ пародіи, все способствовало успѣху ея въ обществѣ, какъ нѣкогда шуточной сказкѣ Богдановича. Не смотря на всѣ недостатки этого незрѣлаго произведенія, оно составило эпоху въ нашей литературѣ, разсѣяло послѣдніе остатки классицизма и произвело кровопрлитную войну между старымъ и новымъ направленіемъ. Будучи слабѣйшимъ произведеніемъ Пушкина, Русланъ и Людмила имѣетъ важное значеніе въ исторіи нашей поэзіи, какъ послѣдняя его дань французской эпикурейской школѣ и первый шагъ къ извѣстности и славѣ. Она пріобрѣла ему лестное вниманіе публики, страстную любовь молодого поколѣнія и ожесточенныя нападки старообрядцевъ-журналистовъ. Съ другой стороны эта поэма была послѣднимъ явленіемъ того періода жизни Пушкина, въ который онъ водилъ свою музу на шумныя пиршества, гдѣ она *разсыпала дары свои*,

И какъ вакханочка рѣзвилась,
За чашей пѣла для гостей,
И молодежь минувшихъ дней
За нею буйно волочилась.

Что же могло быть слѣдствіемъ такого состоянія? Духъ человѣческій, не находя осуществленія своихъ пламенныхъ желаній и тяжкихъ усилій, впалъ въ сомнѣніе, отрицаніе и отчаяніе; но въ то же время, по вѣчнымъ законамъ промысла, не переставалъ стремиться къ будущему, предчувствуя, что скоро должна блеснуть на горизонтѣ та путеводная звѣзда, которая приведетъ его къ истинѣ и спасенію. Байронъ былъ представителемъ этого общественнаго кризиса. Его поэзія раздалась надгробной пѣснью по умершему міру, и въ то же время въ ней слышалось что-то, предвѣщающее рожденіе новой жизни. Съ одной стороны она отразила страшное отчаяніе, возникшее вслѣдствіе неосуществленія общественныхъ надеждъ, горькое презрѣніе къ обществу, представляющему дряхлый міръ, къ вѣрованіямъ, разрушеннымъ философіею; съ другой стороны — въ ней проявилась пламенная любовь къ природѣ и тому, что есть высокаго и прекраснаго въ человѣчествѣ, независимо отъ его современнаго состоянія. Отъ того поэзія Байрона является двойственною: въ немъ мы видимъ поэта, который ненавидитъ общество и любитъ природу и

человѣка. Съ одной стороны у него видна глубокая непріязнь къ общественнымъ постановленіямъ и вѣрованіямъ, отрицаніе всѣхъ политическихъ и нравственныхъ началъ, ненависть къ тѣмъ принципамъ, которые господствовали цѣлыя вѣка; съ другой стороны — въ немъ является горячая привязанность къ природѣ, пламенная любовь къ искусствамъ, сердце глубоко страдающее общественными недугами и полное сочувствія къ человѣку. Нѣтъ ничего несправедливѣе мнѣнія, будто Байронъ былъ ненавистникомъ человѣчества, сатаною — какъ назвалъ его Ламартинъ. Онъ всего лучше самъ опровергаетъ этотъ нелѣпый судъ, говоря, что «бѣжать людей не значитъ ненавидѣть ихъ». Въ самомъ дѣлѣ, если Байронъ презираетъ человѣчество, такъ это только за его настоящее несовершенство, за его медленное развитіе. Посмотрите, какъ пламенно любилъ онъ испанцевъ и грековъ, какія рѣчи, полныя энтузіазма, выливались изъ души его, когда онъ обращался къ послѣднимъ, какими громами разилъ онъ властолюбіе Наполеона, и какой любовью къ благородной сторонѣ человѣчества и къ искусству согрѣты лучшія мѣста Чайльд-Га-

рольда! Вспомните, съ какою горячностью любилъ онъ природу и какъ благоговѣлъ предъ ея творцомъ, говоря о чувствахъ, которыя наполняли его душу, когда онъ слышалъ звуки Ave Maria ¹⁸⁾. Не онъ ли сказалъ: «кто не любитъ отечества, тотъ не можетъ любить ничего на свѣтѣ!» Развѣ не пламенно любилъ онъ природу въ *Чайльдъ-Гарольдѣ*, развѣ не обожалъ отечества въ *Двухъ Фоскари*? развѣ во всѣхъ произведеніяхъ его не видимъ глубокаго сочувствія къ человѣку и созданіямъ искусства? Если Байронъ, смотря съ отчаяніемъ на жалкое состояніе общества, медленное развитіе его жизни и совершенства, восклицалъ съ негодованіемъ: «люди, какъ вы жалки со всѣми вашими надеждами!» то онъ же говорилъ, уповая на лучшую будущность человѣчества: «придетъ время, когда свѣтъ ярко блеснетъ намъ въ очи, когда господство меча пройдетъ, и поработители, подобные Наполеону, сдѣлаются невозможными», и восклицалъ:

So perish all,
Who would men by man enthral! ¹⁹⁾.

Негодованіе и презрѣніе Байрона не стирается на все человѣчество; напротивъ,

онъ любить его, страдаетъ его страданіями, живетъ его надеждами, и, ненавидя, презирая общество за униженіе, призываетъ его къ новой жизни и счастію. Всякая строка Байрона дышетъ или любовью къ человѣку, или ненавистью къ обществу, въ каждомъ словѣ его видно благоговѣніе къ божественному происхожденію человѣка и презрѣніе къ тому состоянію униженія, до котораго доведенъ онъ своимъ ослѣпленіемъ. Ни въ одномъ поэтѣ вы не встрѣтите столько участія и любви къ человѣчеству, какъ въ Байронѣ. Такимъ образомъ, поэзія его не есть пѣснь одного отчаянія, но и гимнъ надежды: если онъ разрушаетъ старое, то для того только, чтобъ очистить мѣсто новому; если, подобно Прометею, прикованъ къ землѣ, зато мысли его всегда устремлены на небо. Вотъ причина двойственности Байрона, источникъ того отчаянія и надежды, энтузіазма и презрѣнія, насмѣшки и слезъ, гордости и любви, проклятія и молитвы, которыми запечатлѣна вся его поэзія. Если съ одной стороны отъ нея вѣетъ могильнымъ холодомъ, то съ другой она благоухаетъ свѣжестію новой жизни, *предвкушеніемъ неба* (foretaste of heaven). Она

похожа на костеръ феникса, на которомъ старое, одряхлѣвшее общество сожигаетъ себя со всѣмисвоими принципами, но въ которомъ изъ пепла должно возникнуть новое общество, съ новыми свѣтлыми идеями, для новой блистательной жизни...

Вотъ значеніе Байрона, *гармоническаго пѣвца страданій*, — какъ называетъ его Барбье. Этому-то могучему, дивному генію подчинился Пушкинъ въ самыя цвѣтушія лѣта своей молодости.

Какъ Державинъ не понялъ философіи и поэзіи XVIII вѣка, такъ и Пушкинъ не могъ постигнуть Байрона. Родясь въ такомъ обществѣ, которое до временъ Петра жило совершенно отдѣльною отъ другихъ народовъ жизнію, а съ эпохи' преобразованія начало новое существованіе, гдѣ были совершенно иные недостатки и страданія, Пушкинъ не могъ чувствовать той ужасной болѣзни, какою томилось общество европейское, не могъ питать къ нему той неумолимой ненависти и презрѣнія, какія кипѣли въ душѣ британскаго пѣвца, рожденнаго посреди самаго просвѣщеннаго народа, не могъ проливать тѣхъ горькихъ, кровавыхъ слезъ, какими плакалъ

Байронъ. Общество русское не было похоже на европейское, и если въ то время въ самой Европѣ не оцѣнили еще значеніе пѣвца Чайльдъ - Гарольда и называли его главою *сатанинской школы*, то разумѣется Пушкинъ не въ состояніи былъ бы понять его. Онъ не находилъ идеи въ *Манфредъ*, а въ *Мазепѣ* видѣлъ только «картину связаннаго человѣка». Не постигая, такимъ образомъ, идей британскаго пѣвца, возникшихъ изъ его мощнаго духа, не находившаго удовлетворенія въ общественной жизни, Пушкинъ увлекся однако обаятельною силою его генія, и долго, какъ самъ признается, — «сходилъ съ ума отъ Байрона». Что же могъ онъ вынести изъ своей любви къ нему? Онъ плѣнился только разочарованнымъ и гордымъ характеромъ его героевъ, мрачнымъ колоритомъ картинъ и свободною легкостью формы. Явился *Кавказскій Платникъ*.

Герой этой поэмы былъ блѣдною копіею того страшнаго лица, которое выводилъ Байронъ подъ именами Гяура, Альпа, Лары, Конрада, — того отступника отъ общества, который бѣжалъ людей, не находя посреди нихъ пищи для гордой души и необуздан-

ныхъ страстей. Это титаническое лицо явилось у Пушкина также отступникомъ отъ общества, но мелкимъ и ничтожнымъ юношею, обманутымъ любовью и дружбаю и вздыхающимъ о томъ, что

жизни молодой
Давно утратилъ сладострастье.

Героиня была также копіею съ байроновскихъ женщинъ и напоминала Гюльнару, хотя впрочемъ вышла удачнѣе Плѣнника. Не смотря на блѣдность лицъ, неестественность и слабость содержанія, Кавказскій Плѣнникъ произвелъ большое впечатлѣніе, усиленное еще поэтическими обстоятельствами жизни самого поэта, сдѣлавшагося въ молодыхъ лѣтахъ предметомъ всеобщаго вниманія и изучавшаго на мѣстѣ обычаи горцевъ и красоты Кавказа.

Быстро слѣдовали одна за другою поэмы *Бахчисарайскій фонтанъ*, *Братья-разбойники*, *Цыганы*, — и всѣ носили слѣды байроновскаго вліянія. Въ первой піесѣ все было чужое, — и Зарема, срисованная съ Гюльбеи, и Марія, блѣдное подобіе Франчески, и самое описаніе гарема, написанное подъ влія-

ніемъ пятой пѣсни Донъ-Жуана; во второй — русскіе разбойники превратились въ неестественныхъ злодѣевъ, и въ самомъ содержаніи, представлявшемъ столько народнаго, не было почти ничего русскаго, кромѣ стиховъ и оборотовъ, заимствованныхъ изъ старинныхъ пѣсенъ. Но ни одна поэма Пушкина не потерпѣла такъ много отъ вліянія Байрона, какъ Цыганы. Алеко, герой этой повѣсти, чрезвычайно страненъ и неестественъ; его можно назвать пародією на тѣхъ отступниковъ общества, которыхъ такъ любилъ Байронъ. Поэтъ хотѣлъ изобразить въ Алеко образованнаго и пылкаго человѣка, недовольнаго рокомъ и его стѣснительными условіями, и заставилъ его бѣжать въ цыганскій таборъ, два года бродить съ грубыми дикарями, влюбиться въ чувственную и невѣжественную женщину и шататься по деревнямъ съ медвѣдемъ. Этотъ человѣкъ, который ненавидитъ общество и презираетъ свѣтъ, гдѣ

Главы предъ идолами клонять
И просятъ денегъ и цѣпей,


зараженъ, между тѣмъ, всѣми его пороками и недостатками и, говоря великолѣпными фра-

зами о свободѣ, самъ напѣтанъ деспотизмомъ и даже въ цыганскій таборъ приносить эгоизмъ и нетерпимость. Ясно, что Пушкинъ, проникнутый чтеніемъ Байрона, силился изобразить лицо, подобное его мрачнымъ героямъ, но представилъ какой-то фантастическій призракъ, уродливый и неестественный. Въ Пльѣнникѣ характеръ разочарованнаго былъ только блѣденъ, въ Цыганахъ онъ совершенно неестественъ.

Форма всѣхъ этихъ поэмъ была также байроновская: онѣ отличались той же самой манерою, были наполнены лирическими отступленіями; въ нихъ являлись пѣсни горцевъ, татаръ, цыганъ, какъ у Байрона греческія и испанскія пѣсни въ Донъ-Жуанѣ и Чайльдъ-Гарольдѣ.

Что же было причиною огромнаго успѣха этихъ поэмъ? — Живописныя картины природы, описанія Кавказа и Крыма, цыганскаго табора и горскаго аула, новостъ и легкая простота формы, живость красокъ и неслыханная сила и гармонія стиховъ, — вотъ достоинства этихъ произведеній Пушкина. Вліяніе на нихъ Байрона было благодѣтельно тѣмъ, что еще болѣе сблизило нашего поэта

съ востокомъ, любимую страну музы британскаго пѣвца, но пагубно въ томъ отношеніи, что Пушкинъ, не постигая Байрона, взялъ у него героевъ, чуждыхъ нашему обществу, и отъ того лишилъ свои произведенія истины, сдѣлавъ ихъ блѣдными копіями съ недоступныхъ для него образцовъ.

Въ эту эпоху дѣятельности Пушкинъ увлекъ за собою толпы подражателей. Замѣчательнѣйшими изъ нихъ были — Козловъ, рабскій поклонникъ Байрона, понимавшій его еще менѣе, нежели авторъ Кавказскаго Плѣнника; Подолинскій, послѣдователь Мура, подражавшій его поэмѣ *Lalla Rookh*, и наконецъ  тынскій, котораго поэзія была не чужда мысли, но отличалась болѣе холоднымъ умомъ, чѣмъ горячей душою и воображеніемъ. Въ это же время явился Марлинскій. Его *Повѣсти и Разказы*, игривые и блестящіе, но изысканные и приторные, похожи были не на ровный свѣтъ солнца или кроткое сіяніе луны, а на разсыпчатый, трескучій фейерверкъ, который можетъ на мгновеніе очаровать глаза, но ничего не оставляетъ ни въ умѣ, ни въ сердцѣ. Не смотря на то, разнообразіе и небывалая красота этихъ потѣшныхъ огней фан-

тази, гдѣ неистощимо сверкала изобрѣтательность и остроуміе поэта, привлекли къ Марлинскому многочисленныхъ поклонниковъ, и его имя навсегда останется въ исторіи нашей поэзіи.

Къ этому періоду жизни Пушкина принадлежитъ и *Евгеній Онѣгинъ*. Эта поэма не есть уже подражаніе Байрону, но произведение, написанное только подъ его вліяніемъ; въ ней Пушкинъ, платя послѣднюю дань современному генію, является съ другой стороны поэтомъ самобытнымъ и возвышается до національности. Въ Кавказскомъ Плѣнникѣ и Алеко мы видѣли блѣдныя копіи съ исполинскихъ героевъ Байрона, въ Заремѣ, Черкешенѣ и Маріи являлись подобія байроновскихъ женщинъ; но въ Онѣгинѣ и Татьянѣ поэтъ въ первый разъ показалъ лица русскія, хотя въ характерѣ перваго и отзывалось еще вліяніе британскаго пѣвца. Во всѣхъ прежнихъ поэмахъ Пушкинъ, не постигая идеи байроновскаго разочарованія, переносилъ его въ свои произведенія безъ всякаго отношенія къ русскому обществу. Въ Онѣгинѣ главная основа также разочарованіе, но оно имѣетъ уже идею, хотя слабую и одностороннюю, но взятую изъ са-

мой русской жизни. Мы говорили, что наше общество, неподвижное до временъ Петра, и быстро стремившееся къ новой жизни съ эпохи преобразованія, не походило на общество европейское, которое пережило столько столѣтій постепеннаго развитія, видѣло столько кризисовъ и не нашло отвѣта на вопросы, возникшіе въ XVIII вѣкѣ. У насъ не могло существовать разочарованія, которое родилось вслѣдствіе противодѣйствія, встрѣченнаго стремленіемъ духа въ недостаткѣ матеріальныхъ средствъ и неразвитіи цивилизаціи; а отъ того и байроновское разочарованіе, перенесенное на русскую почву, вышло въ поэмахъ Пушкина блѣднымъ и неестественнымъ. Но въ этомъ разочарованіи была одна сторона, конечно жалкая и печальная, — это пресыщеніе сердца жизненными благами, апатія, рождаемая истощеніемъ силъ въ вихрѣ свѣтской жизни, такъ ярко выраженныя Байрономъ въ первыхъ строфахъ Чайльдъ-Гарольда. Такой видъ разочарованія существовалъ и въ русскомъ обществѣ; ему подвергся въ молодости и самъ Пушкинъ. Понятно, что пылкій умъ и сильная душа, увлеченные свѣтскою жизнію, бле-

стящими забавами и удовольствіями, должны были скоро почувствовать пустоту и пресмытаться тѣмъ, что льстило однимъ только чувствамъ, а потому духъ впадалъ въ изнеможеніе и охладѣвалъ къ свѣту и обществу. Это разочарованіе выразилъ Пушкинъ въ Онѣгинѣ, и если въ его романѣ видны слѣды Чайльдъ-Гарольда и Донъ-Жуана, зато онъ не есть уже одно подражаніе, но вѣренъ и русскому обществу.

Пушкинъ начинаетъ Евгенія Онѣгина, такъ же какъ Байронъ Донъ-Жуана, описаніемъ воспитанія своего героя, и, подобно Байрону, пишетъ сатиру на воспитаніе. Въ чемъ же состояло приготовленіе Онѣгина къ жизни? Дѣтство онъ провелъ сперва подъ надзоромъ *madame*, потомъ подъ руководствомъ *monsieur*, учился всему слегка и наконецъ выступилъ въ свѣтъ моднымъ *dandy*...

Онъ по-французски совершенно
Могъ изъясняться и писалъ,
Легко мазурку танцевалъ
И кланялся непринужденно.
Чего-жъ вамъ больше? свѣтъ рѣшилъ,
Что онъ уменъ и очень милъ.

Съ этимъ-то образованіемъ, зная вполнѣ науку страсти и обольщенія, бросился онъ

въ свѣтъ и предался съ увлеченіемъ его *однообразной и пустой жизни*. Но одаренный отъ природы свѣтлымъ умомъ и пылкой душою, Онѣгинъ скоро пресытился свѣтскими удовольствіями; ежедневная разсѣянность и излишества притупили въ немъ чувства, и онъ *охладѣлъ къ жизни*. Томясь *душевною пустотой*, онъ принялся за чтеніе, но при своемъ воспитаніи, могъ ли ожидать успокоенія въ кругу науки? Книги надоели ему, такъ-же какъ женщины, и онъ — *pétri de vanité* — возненавидѣлъ все на свѣтѣ. Въ этой части романа Пушкинъ подражалъ Байрону. Ясно, что Онѣгинъ родня Гарольду: онъ подобно ему предается буйной жизни, находитъ въ ней одну только пустоту и удаляется отъ свѣта²⁰). Но здѣсь и оканчивается сходство между ними. Чайльдъ-Гарольдъ, жертва пресыщенія, полонъ однако страстной любви къ природѣ, горячо любитъ созданія искусства, пламенно сочувствуетъ человѣчеству и его свободѣ и, не находя пищи для души въ обществѣ, утоляетъ жажду въ объятіяхъ природы и передъ великими образцами человѣческаго творчества. Его плѣняетъ и красота испанокъ, и дивныя исто-

рическія воспоминанія на поляхъ Греціи, и произведенія искусства въ Италіи, и памятники рыцарства въ Германіи. Надъ безднами Альповъ и на берегахъ Рейна, въ стѣнахъ Колизея и подъ куполомъ св. Петра, предъ статуею Лаокоона и предъ Парнассомъ, онъ забываетъ настоящее общество, живетъ славными воспоминаніями прошедшаго и зоветъ народы къ новой жизни. Онѣгинъ же не таковъ; это *москвичъ въ царьдовомъ плащѣ* — какъ говоритъ самъ поэтъ. Отказавшись отъ свѣта, пресытись буйной жизнію, онъ запирается въ деревнѣ, купается тамъ въ холодной ваннѣ, съ утра до вечера гоняетъ шары на билліардѣ и, не находя пищи въ обществѣ и наукѣ, не только не видитъ ничего привлекательнаго въ природѣ, которая кажется ему пустою, какъ *лунная луна на лунномъ небосклонѣ*, но даже начинаетъ ненавидѣть самое человѣчество. Поэтъ, оправдывая его, говоритъ:

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей.

Такая выходка несправедлива, когда дѣло идетъ объ Онѣгинѣ. За что Евгению прези-

рать людей? Развѣ общество виновато было въ томъ, что онъ, не получа серьёзнаго воспитанія, истощивъ сердце въ развратѣ и роскоши, не находилъ ни въ чемъ пищи охлажденной душѣ. Въ современникахъ Пушкина это разочарованіе возбуждало участіе, намъ оно кажется смѣшнымъ... Итакъ, хотя въ созданіи характера Онѣгина видно вліяніе Байрона, однако это уже не простая копія съ картины автора Донъ-Жуана, а произведеніе, начертанное только подъ его руководствомъ. Если въ прежнихъ поэмахъ Пушкинъ былъ ни что-иное какъ ученикъ, чертившій смѣлою, но неопытной рукою копіи съ картинъ любимаго профессора и не постигавшій его идеи, то въ Онѣгинѣ онъ самъ становится великимъ мастеромъ и часто достигаетъ высоты своего учителя. Какъ Чайльдъ-Гарольдъ до конца остается вѣрнымъ своему характеру, страстно любить природу и человечество въ его доблестныхъ дѣяніяхъ и произведеніяхъ творчества, такъ и Онѣгинъ ни въ чемъ не противорѣчитъ своему непрочному воспитанію и недостатку убѣжденій, своей ненависти къ свѣту и рабской покорности его приличіямъ и законамъ.

Пушкинъ, сравнивая Евгенія то съ Чайльд-Гарольдомъ и Донъ-Жуаномъ, то съ самимъ Байрономъ, говоритъ, что не думалъ изображать въ немъ своего портрета. Не будучи *издателями замысловатой клеветы*, мы однакожь находимъ черты характера поэта въ характерѣ его героя, или, лучше сказать, героевъ, потому что и Ленскій и Онѣгинъ напоминаютъ самого Пушкина. Въ Ленскомъ, можетъ быть и невольно, изобразилъ онъ свою юность, то пылкое время, когда онъ кипѣлъ *негодованіемъ къ злу, любовью къ благу и сладкимъ мученіемъ славы*. Эта юношеская пылкость была убита въ немъ горькимъ разочарованіемъ, истощеніемъ сердца и души въ шумныхъ, но бесплодныхъ удовольствіяхъ свѣта, какъ Ленскій убитъ Онѣгинымъ. Дуэль, описанная въ романѣ, изображаетъ аллегорически ту минуту въ жизни Пушкина, когда охлажденіе убило въ немъ пылкія мечты юности.

Разсматривая содержаніе Евгенія Онѣгина, трудно понять, какъ могъ поэтъ развить изъ него такой обширный романъ. Но глубокое изученіе русской жизни въ различныхъ слояхъ общества, въ большомъ свѣтѣ

столицы и въ глуши провинціи, въ великолѣпной модной залѣ и скромной деревенской усадьбѣ, представило ему обширную канву,— и онъ выткалъ на ней великолѣпную картину, въ которой самая высокая драма смѣшана съ самымъ увлекательнымъ комизмомъ, мастерское созданіе характеровъ соперничаетъ съ художественнымъ изображеніемъ природы; а грустное и веселое, смѣшное и ужасное, трогательное и поразительное, ода и эпиграмма, элегія и сатира, на всякомъ шагу смѣшиваются, переплетаются, и всякій разъ составляютъ новыя разнообразныя сочетанія. Только одинъ Дюпъ-Жуанъ Байрона можетъ соперничать съ этимъ оригинальнымъ, игристымъ, роскошнымъ созданіемъ. Главная идея, сосредоточенная въ основѣ романа и проведенная сквозь малѣйшія его нити, есть сатира на пустоту свѣта, со всѣми его приличіями и условіями, мнѣніями и приговорами. Эта идея—судьба драмы. Около нея все вращается—и Евгенийъ, который бѣжитъ отъ общества, ненавидитъ людей, но дорожитъ общественнымъ мнѣніемъ и боится клеветы негодяя Зарѣцкаго; и Ленскій, который понимаетъ ничтожную причину размолвки съ пріа-

телемъ, но не хочетъ мириться съ нимъ, боясь осужденія глупцовъ; и Татьяна, которая любитъ Онѣгина, презираетъ свѣтъ и отгоняетъ милаго человѣка только для того, чтобъ не надѣлать соблазнительнаго шума въ обществѣ. Все это основано на приличіяхъ свѣта и служить злѣю на него сатирою. Говорить ли о мастерскомъ изображеніи характеровъ въ Онѣгинѣ? — они прекрасны, художественны. Съ какимъ дивнымъ искусствомъ начертаны — Ленскій, типъ простодушнаго, мечтательнаго юноши, съ идеями о вольности и восторженной рѣчью о прекрасномъ; Евгенийъ, русскій Гарольдъ, жертва заблужденій и необузданныхъ страстей; Оленька, простенькая деревенская барышня, будущая мать и хозяйка! Но всего изумительнѣе лицо Татьяны. Это уже не сколокъ съ байроновскихъ гречанокъ, но русская женщина со всѣми ея достоинствами и недостатками, сначала типъ деревенской барышни, напитанной чтеніемъ романовъ, страстной, наивной, мечтательной, суевѣрной, потомъ живой портретъ свѣтской дамы, покорной условіямъ приличія и умѣющей затаить подъ свѣтской маскою всѣ чувства и страсти.

Такимъ образомъ, Онѣгинъ былъ послѣднею данью, принесенною Пушкинымъ Байрону, и первымъ шагомъ къ новому, самобытному направленію. Что же въ этой поэмѣ заимствованное и что оригинальное? Изображеніе русскаго общества на различныхъ его ступеняхъ, характеры всѣхъ лицъ, кромѣ Евгенія, великолѣпныя картины русской природы и нравовъ, и наконецъ самая идея романа, все это принадлежитъ Пушкину и составляетъ переходъ къ самобытному его творчеству. Съ другой стороны — характеръ Онѣгина и нѣкоторые эпизоды романа созданы подъ вліяніемъ Чайльдъ-Гарольда и Донъ-Жуана. Разговоръ Онѣгина съ Ленскимъ, во время возвращенія отъ Лариныхъ, напоминаетъ отъѣздъ Донъ-Жуана изъ Испаніи; въ самомъ письмѣ Татьяны есть сходство съ письмомъ Юліи, хотя въ послѣднемъ болѣе чувства и женскаго сердца, что зависитъ впрочемъ отъ того, что первое пишетъ наивная русская дѣвушка, а второе страстная испанка, для которой «любовь составляетъ цѣлую жизнь». Что касается до формы романа, то она совершенно байроновская, и носитъ самую яркую печать чтенія

Донъ-Жуана. Безпрестанные переходы отъ одного чувства къ другому, отъ насмѣшки къ горькому отчаянію, отъ грусти къ искренней веселости, отъ трагическаго къ комическому, отъ мадригала и оды къ эпиграммѣ и сатирѣ; непрерывное вмѣшательство личности поэта въ судьбу изображенныхъ лицъ, сліяніе собственныхъ чувствъ съ чувствами его героевъ, все это разительно напоминаетъ байронова Донъ-Жуана. Но здѣсь вліяніе британскаго пѣвца не вредитъ уже Пушкину, какъ въ прежнихъ его поэмахъ: рисуя Онѣгина чертами Чайльдъ-Гарольда, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ остается вѣрнымъ русскому обществу, а подражая въ формѣ и способѣ изложенія Донъ-Жуану, часто борется съ Байрономъ и нерѣдко равняется съ нимъ въ разнообразіи и игривости. Вообще, Евгенийъ Онѣгинъ есть величайшее произведеніе Пушкина и превосходитъ по идеѣ и оригинальности все, написанное имъ въ послѣдствіи, и хотя онъ сдѣлалъ потомъ большой шагъ впередъ въ художественномъ отношеніи, но никогда уже не былъ такъ современенъ и націоналенъ, какъ въ этомъ романѣ.

Наконецъ есть у Пушкина третья эпоха дѣятельности, когда онъ совершенно освобождается изъ-подъ вліянія Байрона и является самобытнымъ художникомъ. Постоянное знакомство съ Шенъе, имѣвшимъ благотѣльное вліяніе на пластическую сторону его таланта и особенно на антологическія стихотворенія, чтеніе Вальтеръ-Скотта, обратившаго его къ исторіи, и Мицкевича, изъ котораго онъ началъ переводить въ послѣднее время ²¹⁾, наконецъ изученіе Шекспира, и даже передѣлка его драмы *Measure for measure* въ поэмѣ *Анжело*, все необходимо должно было отвлечь Пушкина отъ того поэта, которымъ онъ увлекся въ годы пылкой молодости, не имѣя съ нимъ почти ничего общаго. *Полтава* была первымъ произведеніемъ, совершенно свободнымъ отъ вліянія Байрона. Не смотря на слабость и невыдержанность дѣйствія, не смотря на то, что въ поэмѣ слиты двѣ совершенно отдѣльныя повѣсти — любовь Маріи и Мазепы и борьба Петра Великаго съ Карломъ XII—она была первымъ вполне самобытнымъ созданіемъ Пушкина. За нею слѣдовалъ *Борисъ Годуновъ*. Эта піеса, превосходя неизмѣримо *Полтаву*

въ художественномъ отношеніи и открывая въ Пушкинѣ талантъ драматическій, напоминаетъ объ изученіи Шекспира и похожа въ манерѣ и тонѣ на его *хроники*; но она отличается несовершенствами, въ которыхъ виноватъ, впрочемъ, не столько талантъ поэта, сколько недостаточная обработка русской исторіи въ то время, когда онъ началъ Годунова. Написанная по *Исторіи Государства Россійскаго* Карамзина, по его взгляду на характеръ эпохи и важнѣйшихъ ея представителей, трагедія является неполною въ своемъ основаніи. Ошибочное понятіе о характерахъ Бориса и Самозванца ослабляютъ ея достоинство. Одинъ представленъ какимъ-то малодушнымъ и робкимъ злодѣемъ; другой является то хвастуномъ, то опрометчивымъ мальчикомъ, иногда думаетъ обмануть умныхъ поляковъ и хитрыхъ іезуитовъ, иногда признается въ своемъ обманѣ, и на свиданіи съ Мариною умоляетъ ее *не презирать младаго самозванца*. Прекрасныя частности, колоритъ народности и вѣрное воспроизведеніе древняго быта составляютъ достоинство трагедіи; а ложное понятіе объ исторической эпохѣ, невѣрный взглядъ на Годунова и неестественность харак-

тера Самозванца не только не могут поставить этой пьесы въ сравненіе съ историческими драмами Шекспира, но даже и на ряду съ лучшими произведеніями Пушкина ²²⁾. Онъ самъ заранѣе сомнѣвался въ успѣхѣ Годунова, говоря, что не имѣетъ уже для публики «главной привлекательности, молодости и новизны литературнаго имени». Это несправедливо: причина, какъ увидимъ послѣ, была совсѣмъ иная.

Но величайшимъ произведеніемъ Пушкина въ эту эпоху жизни былъ *Каменный Гость*, который, вмѣстѣ съ Онѣгинымъ, составляетъ два драгоцѣннѣйшіе перла въ поэтическомъ вѣнкѣ его. Если въ *Евгеніи Онѣгинѣ* мы видимъ разнообразную картину, полную истины и жизни, гдѣ вѣрность рисунка, красота фигуръ, прелесть ландшафтовъ, свѣжесть и переливы красокъ приводятъ въ изумленіе, не смотря на то, что одно изъ лицъ перваго плана, экспрессія и колоритъ напоминаютъ британскаго художника; то *Каменный Гость* представляетъ дивную мраморную группу, простую, какъ созданія греческихъ ваятелей, и изумительно прекрасную при своей простотѣ, гдѣ всѣ фигуры и подробно-

сти образуютъ одно цѣлое вполне оконченное и довершенное.

Эта небольшая драма написана съ тѣмъ глубокимъ знаніемъ жизни и сокровенныхъ пружинъ человѣческой души, и вмѣстѣ съ тою безыскусственною компановкою сценъ и осязательною выпуклостію образовъ, съ тою мягкостію и прозрачностью мрамора, какими отличаются созданія Эсхила. Идея поэмы весьма проста: это неизбежная гибель порока, увлекаемаго въ бездну страстями; но она облечена въ такіе очаровательные образы, которые заставляютъ невольно забыть ея дѣтскую простоту. Какъ вѣрны и высоки характеры Лауры, доньи Анны и дерзкаго обольстителя Донъ-Жуана! Всѣ они выдержаны съ начала до конца, отличаются самою высокою художественностью, изумительнымъ искусствомъ выполненія, и являясь цѣломудренно-обнаженными, составляютъ самую очаровательную группу, напоминающую лучшія созданія классической эллинской музыки ²³).

Нельзя, впрочемъ, сказать, чтобъ и въ эту эпоху жизни Пушкинъ былъ совершенно свободенъ отъ посторонняго вліянія. Вмѣстѣ

съ Байрономъ явился въ Англіи поэтъ, котораго муза повела человѣчество въ его прошедшую жизнь, развертывая свитки давно забытыхъ дѣяній, воскрешая старинные нравы, освѣщая темныя развалины былаго, — это былъ Вальтеръ-Скоттъ. Его поэзія возникла изъ одного источника съ поэзіею Байрона, изъ потребности перерожденія общества и необходимости ознакомиться съ его минувшей жизнію. Въ произведеніяхъ Вальтеръ-Скотта, какъ въ чистомъ зеркалѣ, отразилось старое общество, для того чтобъ стать на-ряду съ новымъ и показать преимущества и недостатки того и другаго, и романы его встрѣчены были съ восторгомъ, и нашли у всѣхъ народовъ подражателей. У насъ потребность въ изученіи старой жизни была также необходима, а потому историческій романъ принялся скоро и удачно. Вслѣдъ за *Юріемъ Милославскимъ* Загоскина явились Лажечниковъ, Полевой и Вельтманъ. Одинъ, подражая буквально англійскому романисту, часто противорѣчилъ исторіи; другой, выражая довольно вѣрно историческія эпохи, не былъ никогда поэтомъ; послѣдній въ *Кошечъ безсмертномъ* и *Святославичъ* умѣлъ такъ

воспользоваться народными преданіями и показаль такой оригинальный взглядъ на старую русскую жизнь, что долженъ занять первое мѣсто въ ряду нашихъ романистовъ. Этому вліянію историческаго романа подчинился и Пушкинъ въ послѣдніе годы своей поэтической дѣятельности; но онъ не могъ занять на этомъ поприщѣ важнаго мѣста, потому что, при своемъ воспитаніи, не былъ приготовленъ къ историческимъ трудамъ. Лучшими сочиненіями его въ прозѣ были тѣ, въ которыхъ проявлялся элементъ сатирическій, составлявшій одну изъ важнѣйшихъ стихій его таланта.

Подъ перомъ Пушкина сатира, выражая то общественные недостатки и болѣзни, то негодованіе поэта на противодѣйствіе, встрѣчаемое стремленіемъ общества къ цивилизаціи и образованію — является въ первый разъ высоко-художественною. Этотъ сатирическій элементъ, господствующая стихія въ *Евгеніи Онѣгинѣ*, проявился и въ другихъ произведеніяхъ Пушкина, какъ на примѣръ въ *Графъ Нулинъ*, *Домикъ въ Коломнѣ*, во многихъ мелкихъ стихотвореніяхъ и даже въ нѣкоторыхъ сценахъ Бориса Го-

дунова. Сатира Пушкина чрезвычайно разнообразна: она является то въ видѣ остроумной шутки, то подъ покровомъ горькой и неумолимой насмѣшки, то въ громахъ грозной филиппики; но всегда сильна, многозначительна и высоко-художественна. Этимъ сатирическимъ началомъ проникнуты и лучшія прозаическія сочиненія его—*Египетскія Ночи* и *Лѣтопись села Горохина*, въ сожалѣнію не конченная. Въ первой піесѣ Пушкинъ начертилъ горькую сатиру на значеніе поэта въ нашемъ обществѣ, а въ другой—написалъ злую пародію на карамзинскій способъ изложенія русской исторіи.

Вотъ три различные періода дѣятельности Пушкина, въ которыхъ онъ является то подражателемъ Аріосту и французскимъ поэтамъ XVIII вѣка, то послѣдователемъ Байрона, то самобытнымъ творцомъ, обратившимся, послѣ изученія Шекспира и Вальтеръ-Скотта, въ сферу драмы и исторіи. Теперь бросимъ взглядъ на отношеніе его къ обществу.

Судьба Пушкина составляетъ самую любопытную и поучительную страницу въ исторіи нашей поэзіи. Первые его произведенія, еще молодыя и незрѣлыя, встрѣчались съ

восторгомъ, перелетали съ электрической быстротою изъ устъ въ уста, переписывались и заучивались во всей Россіи. Ихъ читали и деревенская барышня, и юноша на ученической скамейкѣ, и офицеръ въ походной палаткѣ, и ученый въ своемъ кабинетѣ; они возбудили энтузіазмъ, до тѣхъ поръ неизвѣстный. Русланъ и Людмила, Кавказскій Плѣнникъ, Цыганы, первыя главы Евгенія Онегина встрѣчены были со всеобщимъ восторгомъ. Потомъ, когда геній Пушкина возмужалъ, когда его сочиненія не были уже блѣдными подражаніями, незрѣлыми плодами молодости, а становились самобытными, оригинальными, тогда публика принимала ихъ не съ тѣмъ восторгомъ, какъ прежде, но почти равнодушно и безъ участія. Что же было причиною такого страннаго явленія? отчего энтузіазмъ, возбужденный юношескими стихами Пушкина, погасъ въ то время, когда талантъ его возмужалъ? Поэтъ ли до такой степени предупредилъ свой вѣкъ, что толпа не могла понимать его, или общество ушло отъ него впередъ съ новыми идеями и потребностями?

Поэзія имѣетъ двойное значеніе: или,

отражая въ себѣ природу и жизнь, она воспроизводитъ общіе идеалы, безъ всякаго отношенія къ современному обществу, или, собирая въ себѣ, какъ въ фокусѣ, современныя идеи, выражаетъ въ личности поэта тѣ интересы и потребности, которые таятся въ настоящемъ обществѣ. Писатель, являющійся только безусловнымъ художникомъ, какъ бы ни былъ высокъ талантъ его, можетъ сдѣлаться любимцемъ только немногихъ поклонниковъ искусства, но никогда не увлечетъ за собою цѣлаго общества, никогда не будетъ его вождемъ на пути къ развитію и совершенству, и заслужитъ общія рукоплесканія развѣ тогда, когда явится въ народѣ глубоко образованномъ. Напротивъ, поэтъ, выражающій въ произведеніяхъ своихъ общественную жизнь и ея потребности, въ какомъ бы ни явился обществѣ, всегда становится въ главѣ его, обращаетъ на себя его молящія и радостныя взоры и производитъ въ немъ борьбу и броженіе.

Пушкинъ, въ началѣ своего поэтическаго поприща, явился представителемъ общественныхъ идей и потребностей. хотя не столько по глубокому убѣжденію, сколько по времен-

ніе высказалъ онъ въ тѣхъ мрачныхъ стихотвореніяхъ, которыя вырвались прямо изъ сердца его съ кровью и стонами ²⁴). Страдая отчаяніемъ и тяжелою грустью по несбывшимся надеждамъ, онъ то доспрашивался у судьбы, зачѣмъ дана ему въ *напрасный даръ* постылая жизнь, то говорилъ, что *хочетъ жить*, для того *чтобъ мыслить и страдать*. Наконецъ, утомленный борьбою, сознавъ свое безсиліе противъ судьбы, видя развалины своихъ воздушныхъ замковъ, онъ отказался совсѣмъ отъ пророческаго призванія и обольщеній юности и говорилъ въ посланіи къ другу:

Давно ль съ восторгомъ молодымъ
Я мыслилъ имя роковое
Предать развалинамъ инымъ?
Но въ сердцѣ бурями смиренномъ
Теперь и лѣнь и тишина,
И въ умиленьи вдохновенномъ,
На камнѣ, дружбой освященномъ,
Пишу я наши имена.

Озлобленный неудачами и противодѣйствіемъ и не имѣя силъ бороться съ ними, Пушкинъ уединился въ область одного искусства, предался однимъ наслажденіямъ поэзии и вознегодовалъ на людей. Не вѣря бо-

лѣе божественному голосу, призывавшему его на служеніе обществу, онъ сказалъ съ горечью и презрѣніемъ:

Подите прочь — какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратѣ каменѣйте смѣло:
Не оживить васъ лиры гласъ;
Душѣ противны вы какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Непрочность убѣжденій была причиною, что Пушкинъ совершенно отказался отъ идей, волновавшихъ его въ молодости, и увлекся новыми, въ кругъ которыхъ поставили его обстоятельства и образъ жизни. Стихотворенія *Родословная моего героя*, *Моя родословная* и другія — доказываютъ, что онъ не только забылъ стремленія своей молодости, но даже началъ высказывать противное тому, что постоянно проявлялось въ нашей поэзии со временъ Кантемира. Общество скоро поняло, что любимый поэтъ оставилъ его, что

народныя радости и печали не находятъ уже въ немъ прежняго сочувствія. Тогда публика, въ свою очередь, по невольному инстинкту, оставила поэта, и то общество, которое съ восторгомъ принимало первыя, незрѣлыя произведенія молодаго пѣвца Руслана и Людмилы, оставалось холоднымъ къ его послѣднимъ созданіямъ, не смотря на то, что они были несравненно выше по искусству. Это охлажденіе публики сильно тревожило Пушкина въ послѣдніе годы его жизни. Онъ видѣлъ, какъ разорвалась та симпатическая связь, которая соединяла его съ обществомъ, и началъ съ лихорадочнымъ беспокойствомъ бросаться во всѣ отрасли литературы, въ исторію, романъ, журналистику, отыскивая какойнибудь струны, которая связала бы его съ публикою. Но ничто не помогало.

Остается опредѣлить значеніе Пушкина какъ поэта. Онъ не принадлежитъ къ числу такихъ гениевъ, которые служатъ представителями идей всего человѣчества и увлекаютъ за собою всѣ умы. И можно ли требовать такого значенія отъ современнаго поэта русскаго? Отечество наше, выступивъ такъ поздно на сцену міровой дѣятельности, не имѣло до

сихъ поръ на Европу другаго вліянiя кромѣ политическаго, потому - что умственная его жизнь находится въ томъ періодѣ развитiя, когда народъ усваиваетъ плоды чужихъ знанiй и успѣховъ, и начинаетъ растить ихъ на своей почвѣ, готовясь выступить на поприще дѣятельности общечеловѣческой. Въ такое время, конечно, могли являться геніи, но возможно ли требовать отъ нихъ значенiя всемірнаго, когда вся наша умственная жизнь не получила еще этого значенiя? Такимъ образомъ, Пушкинъ не есть всемірный поэтъ и имѣетъ значеніе только для своего отечества. Онъ занимаетъ въ нашей литературѣ такое же мѣсто, какое занимаютъ Тегнеръ и Эленшлегеръ въ литературѣ шведской и датской. Въ немъ мы видимъ поэта, который въ первую половину жизни былъ представителемъ многихъ общественныхъ идей и потребностей; а въ послѣдніе годы вступилъ на путь исторической дѣятельности, но при всемъ томъ, что былъ великимъ художникомъ, не успѣлъ возсоздать минувшей жизни своего народа. Ясно, что Пушкинъ не принадлежитъ къ великому семейству геніевъ міровыхъ и не можетъ быть названъ полнымъ представителемъ

идей своего отечества, но какъ поэтъ-художникъ останется всегда звѣздою первой величины въ кругу нашихъ важнѣйшихъ писателей.

Почти въ одно время съ Пушкинымъ явился человѣкъ, который блеснулъ и исчезъ, какъ яркій метеоръ, на горизонтѣ нашей литературы. Черезъ три года послѣ выхода въ свѣтъ Руслана и Людмилы показалась комедія Грибоѣдова *Горе отъ Ума*, и произвела явленіе, до тѣхъ поръ невиданное. Не смотря на то, что она явилась въ рукописи, что авторъ ея былъ почти неизвѣстенъ, сочиненіе во множествѣ списковъ пронеслось по Россіи, находя восторженный приѣмъ и въ аристократическихъ гостиныхъ, и въ скромныхъ семействахъ средняго круга. Имя Грибоѣдова сдѣлалось народнымъ, цѣлыя сцены его комедіи заучены были всѣми образованными людьми, стихи ея обратились въ пословицы. Что же было причиною этого необыкновеннаго явленія?

Горе отъ Ума нельзя назвать комедіею: въ этой піесѣ нѣтъ ни завязки, ни сценическаго дѣйствія; вся интрига ея оскована на любви

Софьи къ негодю Молчалину и привязанности Чацкого къ подругѣ дѣтства, — и кромѣ этихъ трехъ лицъ, другія въ ней не участвуютъ. Но если эта пьеса не выполняетъ ни сколько условій комедіи, то она представляетъ самую яркую, поразительную и художественную картину русскаго общества начала XIX вѣка, самую остроумную и горькую сатиру на положеніе молодаго поколѣнія, пылкаго, образованнаго, благороднаго, дерзкаго, насмѣшливаго, посреди стараго московскаго общества, фанатическаго и безнравственнаго, низкопоклоннаго и враждебнаго образованію, напитаннаго барствомъ и формализмомъ, и усвоившаго одни наружныя приемы европейской цивилизаціи. Мысль поставить молодое поколѣніе въ противорѣчіе съ старымъ — дала возможность автору написать обширную и мастерскую картину, обставленную множествомъ типическихъ лицъ, списанныхъ съ дагерротипной вѣрностью и созданныхъ съ величайшимъ искусствомъ. Такимъ образомъ, Горе отъ Ума, не удовлетворяя требованіямъ комедіи, по ничтожности интриги и недостатку дѣйствія, была только геніальной картиною нравовъ общества, про-

нившуютою свѣтлой современной идеею, и вотъ тайна того восторга, съ которымъ эта піеса была встрѣчена во всей Россіи.

Но идея Гора отъ Ума, не смотря на всю ея многозначительность и современность, высказана неполно и односторонне. Представляя положеніе молодаго поколѣнія въ массѣ стараго, враждебнаго истинному образованію общества, Грибоѣдовъ прекрасно характеризуетъ послѣднее и неотчетливо понимаетъ первое. Ясно, что молодой человѣкъ, съ свѣтлыми идеями и благороднымъ образомъ мыслей, долженъ былъ возненавидѣть толпу, которая презирала и гнала образованіе, считая ученье чумою и сожалея о томъ, что для *преспѣнья зла нельзя собрать и сжечь всѣ книги*; и въ свою очередь самъ этотъ молодой человѣкъ, *врагъ исканій, не ищущій ни чиновъ, ни мѣстъ, и жаждущій однихъ познаній*, долженъ былъ показаться сумасшедшимъ этимъ исчадіямъ порока и невѣжества. Но какъ же поэтъ понялъ это молодое поколѣніе, которое онъ поставилъ въ противоположность старому? Можно ли назвать умнымъ Чацкаго? можно ли не видать заносчивости и незрѣлости этого ума,

Что гений для иныхъ, а для другихъ чума;
 Который скоръ, блестящъ и скоро опротивить,
 Который свѣтъ ругаетъ на повалъ?

Софья права, опредѣливъ такимъ образомъ Чацкаго: это не умный человѣкъ, но безпокойный и заносчивый остроумецъ. Ожесточенный противъ общества за его невѣжество и безотчетное усвоеніе отъ иностранцевъ одного наружнаго лоска свѣтской жизни, онъ бросается въ другую крайность, и отъ слѣпаго подражанія иноземцамъ хочетъ перейти къ китайскому застою, вооружается на бритье бородъ и на фраки, и не только не думаетъ о благотѣльномъ вліяніи европейскаго образованія, но говорить, что родной край для него хуже

Съ тѣхъ поръ, какъ отдалъ все въ промѣнъ на новый ладъ.

Вотъ идея комедіи Грибоѣдова. Съ перваго взгляда видно, что она касается одного изъ самыхъ животрепущихъ общественныхъ вопросовъ, но выражена неполно и ведетъ къ односторонности и ложнымъ выводамъ. Здѣсь нельзя не замѣтить большаго сходства между сочиненіемъ Грибоѣдова и комедіями Фонвизина. Въ Бригадирѣ и Горѣ отъ Ума видна

одна и таже сатира на безотчетное обезьянство, которое состояло въ усвоеніи пороковъ и наружнаго европейскаго лоска, и въ отчужденіи отъ истиннаго образованія и цивилизаціи просвѣщенной Европы. Въ той и другой комедіи одни и тѣ же лица—остатки азійскаго общества, вольные или невольные враги истиннаго просвѣщенія и развитія. Въ Бригадирѣ выведено на сцену молодое поколѣніе послѣдней половины XVIII вѣка, которое стремилось къ сближенію съ европейскими обычаями, но понимало его въ одномъ только усвоеніи французскаго языка и парижскихъ модъ, и которое было еще немногочисленно посреди массы стараго поколѣнія, вовсе чуждавшагося образованія и воспитаннаго на капустѣ и рѣдькѣ. Въ Горѣ отъ Ума это молодое поколѣніе является уже массою, поколѣніемъ старымъ, представляя во всѣхъ лицахъ, за исключеніемъ Чацкаго, тѣхъ же Иванушекъ и Совѣтницъ, только устарѣвшихъ и пережившихъ три десятилѣтія. Новое же молодое поколѣніе начала XIX вѣка видимъ въ лицѣ Чацкаго, и оно, являясь болѣе образованнымъ и нравственнымъ, сознаетъ всѣ заблужденія стараго общества,

но по излишней пылкости, недостатку убѣжденій и незрѣлости идей, вдается въ новую крайность, и вмѣсто слѣпаго подражанія европейскимъ обычаямъ, проповѣдуетъ совершенное отъ нихъ отчужденіе. Разумѣется, эти люди также устарѣли для насъ, какъ Иванушка для Чацкаго, и кажутся теперь также смѣшными и жалкими. Намъ представляется равно нелѣпымъ и обезьянски-необдуманное передразниванье чужихъ обычаевъ, и китайское отчужденіе отъ цивилизаціи просвѣщенной Европы, равно кажутся анахронизмами Иванушки, гонящіеся за однѣми иностранными модами, и Чацкіе, проповѣдующіе возвращеніе ко временамъ Домостроя, хотя и тѣ и другіе несовсѣмъ еще перевелись въ массѣ нашего стараго поколѣнія.

Такимъ образомъ, какъ картина нравовъ и сатира на общество, Горе отъ Ума есть произведеніе весьма важное въ нашей поэзіи, но какъ художественная комедія, не выдерживаетъ самой слабой критики. Недостатокъ завязки и дѣйствія, неестественность отношенія Чацкаго въ Софѣѣ, блѣдность ея характера и странная любовь къ Молчалину, все противорѣчитъ требованіямъ комедіи. Съ

другой стороны, близкое отношеніе идеи піесы къ интересамъ общества, художественная картина нравовъ московскаго аристократическаго круга, мастерское искусство въ изображеніи характеровъ самыхъ типическихъ — ставятъ сочиненіе Грибоѣдова на-ряду съ важнѣйшими произведеніями нашей поэзіи и лучшими созданіями самого Пушкина. Если мы вспомнимъ, что авторъ Онѣгина цѣлыя шестнадцать лѣтъ былъ постояннымъ дѣятелемъ въ нашей литературѣ, а Грибоѣдовъ, являсь съ своей комедіей, и то рукописною, въ 1823 году, мало писалъ послѣ нея, а черезъ два года, въ то время когда Пушкинъ перешелъ къ чисто-художественной дѣятельности, не издавалъ уже вовсе ничего, то нельзя не согласиться, что піеса Грибоѣдова, по глубокому впечатлѣнію на общество и сочувствію, встрѣченному ею въ публикѣ, превосходитъ по значенію многія произведенія Пушкина. Если бы смерть не застигла такъ рано Грибоѣдова, если бы онъ, продолжая развиваться, въ то же время не уклонялся отъ своего направленія и сочувствія къ общественнымъ интересамъ, то, можетъ быть, значеніе его въ нашей литературѣ было бы не ниже значенія самого

Пушкина. Но судьба судила иначе: она отняла у насъ неожиданно того и другаго, давъ одному совершить обширный и поучительный кругъ дѣятельности и позволивъ другому сдѣлать только шагъ на поэтической аренѣ, но такой шагъ, который поставилъ его на-ряду съ первыми нашими поэтами.

V.

Лермонтовъ и Гоголь.

Вмѣстѣ съ послѣдними звуками неожиданно сокрушенной лиры Пушкина, послышался голосъ новаго, юнаго пѣвца; это былъ Лермонтовъ, преемникъ таланта Пушкина, подобно ему выступившій на сцену при одобрительномъ вниманіи публики, увѣнчанный терновымъ вѣнцомъ страданій и погибшій въ самую блестящую пору своей дѣятельности.

Лермонтовъ, подобно Пушкину, началъ подражаніями русскимъ и иностраннымъ поэтамъ, но съ перваго шагу показалъ талантъ необыкновенный и разнообразный. Въ *Хаджи-Абрекѣ* онъ шелъ по слѣдамъ Пушкина, въ *Бояринѣ Оршѣ* подражалъ Жуковскому. Въ первой поэмѣ видны слѣды Кавказскаго Плѣнника и Галуба, вторая внушена чтеніемъ Суда въ Подземельѣ; но въ обѣихъ краски такъ живы, стихъ такъ силенъ, что многіе

отрывки нисколько не уступают лучшим мѣстамъ Жуковскаго и Пушкина. Особенно вліяніе послѣдняго было сильно на Лермонтова; во многихъ мелкихъ стихотвореніяхъ онъ не только подражалъ манерѣ и стиху Пушкина, но даже заимствовалъ у него содержаніе, можно сказать, писалъ на взятыхъ изъ него темы. *Вѣтка Палестины, Тамара, Три Пальмы* явно внушены стихотвореніями Пушкина — Цвѣтокъ, Cleopatra e i suoi amanti и однимъ изъ подражаній восточнымъ поэтамъ ²⁵). Но въ художественномъ созданіи рисунка, живости красокъ и силѣ стиха Лермонтовъ не только достигалъ въ этихъ стихотвореніяхъ высоты своего образца, но даже иногда превосходилъ его. Въ подражаніяхъ поэтамъ иностраннымъ талантъ Лермонтова явился также сильнымъ и разнообразнымъ. Въ немногихъ небольшихъ піесахъ, переведенныхъ изъ Байрона, Гете и Гейне, онъ такъ овладѣлъ духомъ оригиналовъ, что казалось, сами эти поэты, узнавъ русскій языкъ, высказали на немъ нѣсколько изъ своихъ прекрасныхъ стихотвореній.

Но самое сильное вліяніе на Лермонтова имѣлъ современный французскій поэтъ, не-

умолимый врагъ порока и разврата, который, глубоко страдая по болѣзнямъ общества, проникаетъ въ то же время въ ихъ сокровеннѣйшія причины. Мы говоримъ о Барбье.

Барбье есть представитель настоящаго французскаго общества. Его поэзія дышетъ негодованіемъ на тѣ пороки и несчастія, которые раздираютъ теперь бѣдный классъ европейскаго общества, и гремитъ проклятіемъ къ тѣмъ началамъ, которыя были причиною этого страшнаго состоянія. Выставляя на позорище общественный недугъ, Барбье ведетъ насъ къ самому одру больного, показываетъ его раны и призываетъ къ отвращенію заразы. Поэзія Барбье отличается отъ поэзіи Байрона тѣмъ, что послѣдній, аристократъ въ душѣ, видя недостатки и медленное развитіе современнаго общества, отворачивается отъ него съ презрѣніемъ и удаляется въ объятія природы; а первый, пораженный зрѣлищемъ общественныхъ недостатковъ и болѣзней, не бѣжитъ отъ людей, но вооруженный бичомъ сатиры, разитъ ихъ пороки и побуждаетъ къ дѣятельности и очищенію. Первый презираетъ общество, другой гремитъ на него сатирою; одинъ убѣгаетъ человѣче-

скихъ жилищъ, другой спускается въ самыя низкія обители нищеты, проливая кровавыя слезы и о людяхъ, доведенныхъ бѣдностію до разврата, и о страдальцахъ Бедлама, лишенныхъ ума несчастіями, и о бѣдныхъ рабочихъ, медленно умирающихъ на душныхъ фабрикахъ Англіи ²⁶). Этотъ-то поэтъ, представляющій на позорище общества *мой душевныхъ ранъ его*, съ неумолимымъ проклятіемъ къ эгоизму золота, съ желѣзнымъ словомъ грозной сатиры и энергическимъ, могучимъ стихомъ, имѣлъ самое сильное вліяніе на нашего поэта.

Въ Лермонтовѣ слились элементы поэзіи Байрона и Барбье: въ немъ отразились мрачное охлажденіе и отчаяніе одного и энергическіе порывы и негодование другаго. Но онъ такъ слилъ и усвоилъ оба эти начала, такъ пережегъ ихъ въ горнилѣ души своей, что его нельзя назвать простымъ подражателемъ Байрона и Барбье, какъ нельзя назвать подражателемъ Пушкина.

Вотъ великіе образцы, на которыхъ воспитывалъ талантъ свой Лермонтовъ. У Пушкина взялъ онъ тайну русскаго стиха, у Байрона — взглядъ на общественную жизнь и ея

неразвитіе, у Барбье — громовый и желчный голосъ грозный сатиры, желѣзную вѣрность рѣчи и энергическій тонъ выраженія. И вліяніе этихъ поэтовъ не было ему такъ вредно, какъ Пушкину вліяніе Парни и Байрона, не отвлекло его отъ самобытной дѣятельности, но придало, напротивъ, болѣе силъ и полета.

Пушкинъ былъ поэтъ по преимуществу объективный и всегда почти скрывался за своими созданіями; Лермонтовъ былъ поэтомъ субъективнымъ и въ каждомъ произведеніи выражалъ черты собственнаго характера. Сравните, на примѣръ, *Тучу* Пушкина съ *Тучами* Лермонтова: въ одной вы увидите только прекрасную, художественную картину, въ другомъ — минуту изъ жизни самого поэта. Но и въ немногихъ чисто художественныхъ произведеніяхъ, Лермонтовъ не уступаетъ Пушкину. *Три Пальмы*, въ которыхъ поэтъ рисуетъ изумительно высокую картину Аравіи, превосходятъ все, что только существуетъ въ этомъ родѣ въ нашей поэзіи. Изъ такихъ чисто художественныхъ произведеній Лермонтова лучшее — *Сказка о царѣ Иванѣ Васильевичѣ, молодомъ опричникѣ и*

купцы Калашниковъ. Эта піеса вполне проникнута народнымъ духомъ и исполнена самой высокой драмы. Въ ней воспроизведено съ изумительной вѣрностью грозное время Іоанна IV, и является колоссальный образъ царя, сверкающій съ ногъ до головы поэзіею. Эту піесу нельзя поставить ни въ какое сравненіе съ безцвѣтными и ложно-народными сказками Пушкина. Она съ начала до конца вѣрна историческому и поэтическому характеру Грознаго, дышетъ обаятельной красотою картинъ и прелестью языка, и можетъ быть поставлена только на ряду съ лучшими сценами Бориса Годунова, превосходя его полнотою и оконченностью созданія и вѣрностію изображаемой эпохи.

Лучшія, и къ несчастію почти единственные, поэмы Лермонтова — *Демонъ* и *Мцыри*. Въ первой поэтъ изобразилъ обаятельную силу соблазна и демонское могущество порока, увлекающаго въ бездну гибели пламенную и гордую душу невинности; въ другой — пылкую, ничѣмъ неукротимую жажду свободы и невозможность достиженія ея при одной безсильной волѣ. Дѣйствіе обѣихъ піесъ на Кавказѣ, и въ той и другой поэтъ пред-

ставилъ этотъ край въ такихъ яркихъ и роскошныхъ краскахъ, которыя не только не уступаютъ краскамъ Пушкина, но отличаются еще большею силою и свѣжестію. Характеры въ этихъ поэмахъ задуманы смѣло и начерчены съ величайшимъ искусствомъ, положенія и сцены въ высшей степени драматическія; а борьба и переходы страстей, внутренняя, душевная драма — поражаютъ необыкновенною вѣрностію и глубокимъ анализомъ чело-вѣческаго сердца. Но самое высокое произведение Лермонтова — *Герой нашего Времени*.

Этотъ романъ по идеѣ и содержанію долженъ стоять на ряду съ Евгеніемъ Онегинымъ. Лермонтовъ въ Печоринѣ, также какъ Пушкинъ въ Онегинѣ, изображаетъ современное общество, и сличеніе характеровъ этихъ лицъ будетъ сравненіемъ молодаго поколѣнія, раздѣленнаго тремя пятилѣтіями. Печоринъ, подобно Евгенію, разочарованный юноша, ненавидящій общество и испорченный свѣтомъ, съ безпокойнымъ воображеніемъ и ненасытнымъ сердцемъ; это — говоря словами автора — «портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія въ полномъ ихъ развитіи». Онъ, какъ Онегинъ, разоча-

рованъ жизнію, но уже не потому только, что промоталъ молодость и встрѣтилъ измѣну въ друзьяхъ и женщинахъ, а вмѣстѣ и оттого, что не нашелъ отвѣтовъ на запросы ума. «Цѣлая моя жизнь — говорить Печоринъ — была только цѣпью грустныхъ и неудачныхъ противорѣчій сердцу или разсудку». Вотъ новый шагъ, который сдѣлало впередъ молодое поколѣніе: его занимаютъ не однѣ страсти, но и вопросы ума, оно начало вдумываться въ судьбу свою, задавать вопросы въ своемъ существованіи и искать на нихъ отвѣтовъ. «Зачѣмъ я жилъ? — спрашиваетъ Печоринъ — для какой цѣли я родился? А вѣрно она существовала и вѣрно мнѣ было назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя»... Этой вдумчивости въ жизнь, этого сознанія огромности силъ не было въ Онѣгинѣ, и въ лицѣ Печорина новое молодое поколѣніе предложило себѣ вопросъ въ цѣли своего существованія. Какая разница въ разочарованіи Онѣгина и Печорина! Одинъ, истощивъ сердце въ шумѣ свѣта, впадаетъ въ совершенное бездѣйствіе и апатію; другой, подобно ему ненавидя жизнь, бросается

въ нее съ лихорадочнымъ раздраженіемъ, ища дѣятельности и приключеній, влюбляется въ черкешенку, волочится за княжною, бѣситъ пріятеля. Наконецъ, не находя пищи для жадной души и въ самыхъ тревогахъ жизни, не находя возможности къ удовлетворенію сердца и ума, онъ впадаетъ въ отчаяніе при горькомъ сознаніи того, что «мы неспособны болѣе къ великимъ жертвамъ ни для блага человѣчества, ни даже для собственнаго нашего счастья, потому что знаемъ его невозможность». Въ этой-то печальной увѣренности въ невозможности дѣйствія для блага человечества и собственнаго счастья, заключается источникъ всѣхъ пороковъ Печорина, причина его бездѣйствія и лихорадочной дѣятельности, его пресыщенія и неутолимой жажды. Вотъ идея романа, по которой *Герой нашего Времени* равняется Евгенію Онѣгину и является произведеніемъ вполне современнымъ. Если онъ уступаетъ роману Пушкина въ неисчерпаемомъ разнообразіи картинъ и красокъ, въ удивительномъ переливѣ свѣта и тѣней, за то превосходитъ его полнотою мысли, силою и быстротою дѣйствія и занимательностью сценъ.

Не приступая къ дальнѣйшему опредѣленію значенія Лермонтова, необходимо сказать, что та же сама идея, которая послужила основаніемъ Евгенія Онѣгина и Героя нашего Времени, явилась въ произведеніи еще одного поэта; — мы говоримъ о *Двухъ Судьбахъ* Майкова. Не смотря на молодость таланта и неполноту мысли, эта поэма принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ явленій новой литературы. Въ ней также, какъ въ *Горѣ отъ Ума* и въ романахъ Пушкина и Лермонтова, выражено положеніе молодого образованнаго поколѣнія въ массѣ незрѣлаго общества,

Успѣвшаго тамъ дивно сочетать
Европы лоскъ и варварство татарства.

Но Владиміръ Майкова не похожъ на Онѣгина, Чацкаго и Печорина: не находя, подобно имъ, пищи для души посреди мелочей пустой жизни, разочарованный въ лучшихъ своихъ надеждахъ и стремленіяхъ, онъ, однакожъ, страстно любитъ науку, искусство и природу, и пытливо доспрашивается у судьбы о тайнѣ медленнаго развитія общества. Вдумываясь въ причины своего душевнаго охлажденія, онъ молить судьбу о благѣ отечества,

просить ее *послать новаго пророка*, который бы, подобно Петру, *живымъ словомъ* двинулъ впередъ общество къ новому совершенству, и вызываетъ съ горькимъ упрекомъ къ тѣмъ, которые не поняли идеи великаго преобразователя . . .

Ужель, когда мессія вашъ возсталъ,
 Васъ пробудилъ, и міръ открылъ вамъ новый,
 Въ васъ мысль вдохнулъ, вамъ жизнь иную далъ,—
 Не вняли вы его живое слово,
 И гласъ его въ пустынь прозвучалъ?
 И грустные, идете вы какъ тѣни,
 Безъ силы, безъ страстей, безъ увлеченій?
 Или была наука вамъ вредна?
 Иль, дикаго растливъ, въ вашъ духъ она
 Не пролила свой пламень животворный?
 Иль, тѣню окованнымъ позорно,
 Не по-плечу вамъ мысли блескъ живой?
 Упорнымъ сномъ вы платите ль Батю
 Доселѣ дань, и плодъ ума порой,
 Какъ лишній соръ, сметается въ Россію?

Такъ шагнуло впередъ молодое поколѣ-
 ніе! Это уже не Онѣгинъ, промотавшій мо-
 лодость въ чувственномъ упоеніи, не Чап-
 кій, желчный и раздражительный ненавистникъ
 всего иноземнаго, не Печоринъ, утоляющій
 жажду къ дѣятельности въ вихрѣ жизни; это
 юноша, страстно любящій все прекрасное,
 который впадаетъ въ апатію отъ того, что

: находить точки опоры, гдѣ могъ бы утвердить свою дѣятельность и удовлетворить пламенной любви къ людямъ, наполняющей его загородную душу. Такъ постепенно переждался Онѣгинъ въ Печорина и Владимира: въ одномъ выразилось презрѣніе къ жѣту вслѣдствіе пресыщенія чувственной изнѣю, въ другомъ охлажденіе въ жизни при невозможности наслаждаться ею со всею олною, въ третьемъ отчужденіе отъ общества при безсиліи увлечь его къ дѣятельности и перерожденію.

Отличительный характеръ поэзіи Лермонтова есть мрачный взглядъ на современное общество, «безъ шума и слѣда влачащее одообразную жизнь и не оставляющее въ нагѣдіе потомству геніальныхъ созданій». Она исполнена горячимъ стремленіемъ къ дѣятельности, пожирающею жаждою жизни, грустію о несбывшихся надеждахъ, сомнѣніемъ, отчаяніемъ и страданіемъ. Въ ней *звуки мѹтятся какъ слезы, и слезы текутъ мѣрно какъ звуки, любовь является безъ радостей, разлука безъ ечашъ*; въ ней видѣнъ

Надеждъ погибшихъ и страстей
Несокрушимый мавзолей.

Истощивъ силы въ борьбѣ съ судьбою, Лермонтовъ, подобно Пушкину, доспрашивался у нея, зачѣмъ дана ему жизнь; но эти вопросы не были уже слѣдствіемъ мгновенной тоски, но порождены глубокимъ и продолжительнымъ страданіемъ. Съ отвращеніемъ вспоминая о *скучной и грустной* жизни, о ничтожествѣ желаній и страстей, оплакивая *жаръ души, растраченный въ пустынь*, онъ проклинаетъ свое прошедшее, настоящее и будущее.

Переходъ отъ Пушкина къ Лермонтову очевиденъ и разителенъ. Мы видѣли, что Пушкинъ въ *Пророкѣ* смотрѣлъ на назначеніе поэта, какъ на священное призваніе для служенія истинѣ, какъ на высшее посланіе для изглаголанія обществу воли провидѣнія. Онъ первый услышалъ небесный голосъ, но разочарованный въ своихъ надеждахъ и стремленіяхъ, скоро отказался отъ этого великаго призванія, не устоялъ въ борьбѣ съ преградами, противопоставленными святому служенію. *Пророкъ* Лермонтова служить продолженіемъ піесы Пушкина, другою стороною одной и той же медали, выбитой двумя великими поэтами въ память своего вѣка и общества. Въ

Поэтъ представилъ исполненіе того свя-
 о призванія, которое слышалъ его пред-
 ственникъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, показалъ
 возможность его выполненія, гоненіе, встрѣ-
 нное пророкомъ въ толпѣ, не увѣровавшей
 въ истину и изгнавшей его изъ среды
 ей, какъ сумашедшаго. Пушкинъ оканчи-
 ть своего Пророка словами Бога, пове-
 жающаго ему идти на проповѣданіе людямъ
 ины. Лермонтовъ начинаетъ съ того, чѣмъ
 чилъ Пушкинъ:

Съ тѣхъ поръ, какъ вѣчный судія
 Мнѣ далъ всевѣдѣнне пророка,
 Въ очахъ людей читаю я
 Страницы Злобы и порока.
 Провозглашать я сталъ любви
 И правды чистыя ученья:
 Въ меня всѣ ближніе мои
 Бросали бѣшено каменья.

Тогда, *посыпавъ голову пепломъ*, поэтъ
 ляется въ пустыню и тамъ живетъ, остав-
 чество и созерцая природу и Бо-
 ство. Люди, не вѣруя въ его святое при-
 ніе, показываютъ на него, какъ на безум-
 говора дѣтямъ:

Смотрите: вотъ примѣръ для васъ!
 Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами;

Глупецъ, хотѣлъ увѣрить насъ,
 Что Богъ гласитъ его устами!
 Смотрите же, дѣти, на него,
 Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и блѣденъ!
 Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ,
 Какъ презираютъ всѣ его!

Вотъ какъ осязательно ясно выразились идеи Пушкина и Лермонтова! Одинъ высказалъ идею о высокомъ призваніи поэта и его назначеніи; другой показалъ, что общество не увѣровало въ это и встрѣтило поэта ожесточенными гоненіями, что самъ онъ бѣжалъ изъ среды людей въ пустыню, отказавшись отъ проповѣди истины. Еще сильнѣе выразилъ Лермонтовъ идею о томъ, что поэтъ утратилъ въ нашъ вѣкъ свое высокое назначеніе,—въ другомъ стихотвореніи, гдѣ онъ сравниваетъ современнаго поэта съ *забытымъ кинжаломъ, покрытымъ ржавчиною*, который виситъ въ бездѣйствіи, вмѣсто того чтобъ разить враговъ въ битвахъ. Упрекая поэта въ томъ, что онъ забылъ свое святое призваніе, что его голосъ *не звучитъ въстаникомъ народныхъ торжествъ и бѣдствій*, что его слово *не носится уже надъ толпою*, онъ призываетъ его на служеніе человечеству и восклицаетъ съ горестію и сомнѣніемъ:

Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ?
Иль никогда, на голосъ мщенья,
Изъ золотыхъ ножонъ не вырвешь свой клинокъ,
Покрытый ржавчиной презрѣнья?

Это стихотвореніе напоминаетъ Melromène Барбье и служить дополненіемъ Пророка.

Вотъ значеніе Лермонтова въ нашей поэзіи! Образовавшись подъ вліяніемъ Пушкина, Байрона и Барбье, онъ не остался ихъ подражателемъ, но проложилъ себѣ новый путь. Его поэзія есть зеркало современнаго общества, алчнаго стремленія его къ жизни и невозможности удовлетворить вполне этой жадѣ. Въ ней видно разочарованіе, не столь многозначительное какъ у Байрона, но и не такъ мелкое какъ у Пушкина: это стоны богатыря, который, сквозь окно темницы, видитъ ратный станъ и толпы враговъ, но пригвожденный къ гранитной стѣнѣ, то потрясается въ бѣшенствѣ цѣпями, то въ утомленіи проливаетъ слезы безсилія, то съ гордостью переноситъ страданія. Къ несчастію, судьба похитила поэта въ то время, когда онъ только начиналъ развиваться; но и въ томъ, что написалъ онъ, нельзя не изумляться обширности его генія и высоко ху-

дожественной его натурѣ. Не говоря уже объ идеяхъ, вполнѣ современныхъ, сколько силы и искусства въ его картинахъ и въ характерахъ его лицъ! Какъ просты и высоки его Мцыри, Иванъ Грозный, Княжна, Бѣла; какъ изумительно вѣрны и прекрасны его Калашниковъ, Грушницкій, Максимъ Максимычъ! какою свѣжестію и истиной дышатъ его картины природы и особенно Кавказа! какъ блестящъ и могучъ его языкъ, достигающій въ послѣднихъ произведеніяхъ, и особенно въ *Валерикъ*, такого совершенства, до какого не возвышался и Пушкинъ.

Въ числѣ современниковъ Лермонтова больше другихъ замѣчательнъ Кольцовъ. Съ дѣтства проникнутый любовью къ родной природѣ и горячимъ сочувствіемъ къ народу, этотъ поэтъ-прасолъ умѣлъ художественно отозваться на то, что смутно, какъ бы въ младенческомъ лепетѣ, слышалось въ нашей народной поэзіи.

Въ пѣсняхъ Кольцова природа русская является во всей пустынно-величавой красотѣ своей. Здѣсь раздольная степь *понадвинулась къ морю* и ковылемъ - травой разстлается, или какъ парча шелковая *цвѣтами вся ра-*

*зубрана, тутъ дремучій лѣсъ, одѣтый ѿ
столиственный шлемъ, ведетъ разговоръ съ
бурею, тамъ солнце горячо печетъ землю ма-
тушку, красавица-зорька разыгралась въ
небѣ, и въ рощѣ гремитъ заливная пѣснь
соловьиная. Всѣ времена года даютъ поэту
яркія и живыя краски: то туманъ стелется
у него по лицу земли или день горитъ
огнемъ солнечнымъ, то буря ополчается гро-
момъ, молніей, небо убирается дугой-радугой,
зима идетъ въ теплой шубѣ, порошитъ снѣж-
комъ путь и хруститъ подъ санями.*

Поэтъ страстно сочувствуетъ всему, что
радуетъ нашего поселенина; у него рожь
зернистая красуется въ полѣ, *словно божій
гость, скирды сжатаго хлѣба широко сидятъ,
какъ князья подымаютъ головы, а когда увозятъ
хлѣбъ на гумно,*

Отъ воевъ всю ночь
Скрыпитъ музыка.

Въ пѣсняхъ Кольцова отразился весь бытъ
русскаго крестьянина, съ его радостями и
печалями, надеждами и трудовымъ потомъ,
съ его таланомъ и горькой долею. Поэтъ
ведетъ васъ и въ степь, на полосы подво-

шенной травы, въ удалому воеарю, и на дворъ поселянина, который *ладитъ* свою *борону и соху*, и на пашню-десятину, гдѣ мужикъ сѣть хлѣбъ съ тихой молитвою объ урожаѣ, и на ниву въ молодой жницѣ, у которой любимый серпъ *почернѣлъ отъ сердечной зазнобы*, и въ деревенскую избу, гдѣ за столами браными *сидятъ* званые гости, пьютъ ковшикомъ бражку и *чуторятъ* о посѣвахъ и сѣнобосѣ.

Съ поразительной истиной представляетъ поэтъ русскаго человѣка, съ его размашистой натурой и буйнымъ разгуломъ, удалой рѣшимостью и безотвѣтной покорностью судьбѣ. Вы видите этотъ характеръ, въ которомъ иногда нѣтъ *крѣпкой воли по души*, а иногда сердце жадно *просится облетѣть весь свѣтъ*. Въ пѣсняхъ Кольцова всѣ отѣнки души русскаго человѣка, и въ тѣ минуты беззавѣтной радости, когда *ни съ какой заботы* у него *кудри не стѣкутся*, и въ печальной встрѣчѣ съ злою долею, отъ которой нельзя и *на мыжахъ уйти*. Подавленъ ли русскій человѣкъ бѣдностью, и разоидясь съ бѣдой встрѣчается съ горемъ, у него

Рѣчи вольныя
Всѣ какъ связаны ,
Чувства жаркія
Мрутъ безъ отъыва.

Улыбнулась ли ему судьба, приласкало счастье—и кудри его съ радости выются кольцами шелковыми, онъ готовъ *мчатся, летятъ легче сокола*; у него

Такъ и рвется душа
Изъ груди молодой!
Хочетъ воли она,
Просить жизни другой!

Изъ этого можно замѣтить, что въ пѣсняхъ Кольцова есть общее съ нашими народными пѣснями, и въ то же время между ними неизмѣримая разница. Въ старой нашей поэзіи слышится одинъ смутный лепетъ младенчества; въ поэзіи Кольцова звучить отчетливый голосъ сознательнаго чувства и ясной идеи. Въ тѣхъ и другихъ пѣсняхъ мы видимъ одинъ міръ, но между ними такая же разница, какъ между суздальской лубочной картиною невѣжды-самоучки и прекрасной гравюрою, вырѣзанной мастерской рукою художника даровитаго и вполнѣ народнаго.

Мы сказали уже, что въ Лермонтовѣ выразилось отчаяніе, рожденное въ слѣдствіе невозможности выполнить высокое назначеніе поэта, призваннаго проповѣдывать обществу живое слово истины и совершенства. Не смотря на то, потребность къ дѣятельности общественной не могла совсѣмъ заглухнуть, а только должна была проявиться въ новыхъ формахъ, заговорить инымъ голосомъ, облечься въ другую одежду. Таеъ живой влючъ, разливаясь ручьемъ и встрѣчая преграды теченію, не можетъ уже возвратиться въ источникъ, но пробиваетъ для себя новый путь. Образовалась новая сатира, которая устремилась къ вѣрному изображенію общественнаго состоянія, стараясь показать недостатки во всѣхъ слояхъ народной массы, «озирая жизнь сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы.» Представителемъ этой поэзіи явился Гоголь.

Ни въ одномъ изъ нашихъ поэтовъ не обнаружилось такой горячей любви къ народу, ни одинъ не плакалъ такими горькими слезами о его недостаткахъ и заблужденіяхъ, какъ Гоголь. Его сатира есть страшная драма: въ ней сквозь истерическій смѣхъ видны

кровавыя слезы. Въ Пушкинѣ сочувствіе къ общественнымъ интересамъ, какъ мы уже говорили, выразилось только въ одинъ періодъ его жизни, и то неполно; у Лермонтова оно проявилось въ большихъ размѣрахъ, но было проникнуто отчаяніемъ въ успѣхѣ вліянія на общество и охлажденіемъ къ жизни въ слѣдствіе безсильной борьбы; у Гоголя глубокое сознаніе народнаго духа и гуманизмъ есть уже господствующая, всепоглощающая стихія. Пушкинъ бросаетъ общество, Лермонтовъ съ отчаяніемъ проклинаетъ его, Гоголь плачетъ по немъ и страдаетъ. Это страданіе тѣмъ глубже, поразительнѣе и ядовитѣе, что оно скрыто въ самой глубинѣ его созданій подъ наружностью смѣха, то беззавѣтно - шумнаго, болѣзненно - истерическаго, то тихаго, спокойнаго, проникнутаго насмѣшкою и весельемъ. У Гоголя слезы таятся подъ покровомъ смѣха, какъ вода рѣки подъ борою льда, — и только изрѣдка, подобно полыньѣ, онѣ становятся видимыми и попадаютъ вамъ въ глаза.

Таково окончаніе *Записокъ Сумасшедшаго*, *Повѣсти о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифорови-*

дѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему.

И эти думы, вложенныя въ уста Чичикову и прерванныя наскакавшею на него телѣгою фельд-егеря, поэтъ заключаетъ сравненіемъ Россіи съ тройкою...

Не такъ ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымомъ дымится подъ тобою дорога, гремятъ мосты, все отстасть и остается позади... Русь, куда жь несешься ты, дай отвѣтъ? Не даетъ отвѣта. Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ; гремить и становится вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что ни есть на земли, и косясь постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства.

Гоголь имѣетъ въ нашей литературѣ почти такое же значеніе, какъ Диккенсъ у англичанъ. Оба они сатирики, и сатира ихъ возникла изъ одного и того же источника—грустнаго взгляда на пошлую сторону жизни, на пустоту и холодъ современнаго общества. Тотъ и другой рисуютъ намъ жизнь обыденную, и всегда умѣютъ найти въ ней и ярко выставить на видъ черты многозначительныя. Гоголь и Диккенсъ берутъ свои типы изъ толпы людей дюжинныхъ, и по-казываютъ въ нихъ такія ускользающія, не-

уловимыя черты, которыя невольно заставляютъ васъ задуматься надъ значеніемъ современной жизни. Хлестаковъ, выдающій себя за вельможу, и мистеръ Пикевичъ, Донъ-Кихоть учености, Чичиковъ и Дѣмби, занятые каждый по-своему пріобрѣтеніемъ денегъ и съ одинакимъ чувствомъ мечтающіе о наслѣдникѣ, бѣдный англійскій кочегаръ и Акакій Акакіевичъ, проводящіе всю жизнь—одинъ предъ неугасающей заводской печью, другой за нескончаемой перепиской бумагъ,—все эти лица, проходя въ волшебномъ зеркалѣ Гоголя и Диккенса, получаютъ глубокое значеніе. Но русскій поэтъ, не уступая англійскому романисту въ знаніи жизни и художественномъ созданіи характеровъ, превосходитъ его въ сознательности соціальной идеи, въ глубинѣ взгляда на общество и теплотѣ гуманической любви къ людямъ.

Произведенія Гоголя разнообразны по содержанію: въ нихъ коренная Россія и Малороссія, столица и провинція, жизнь армейскаго офицера и существованіе бѣднаго чиновника, нравы городского общества и обычаи деревенской жизни, словомъ, все русское общество на различныхъ ступеняхъ.

Лучшія произведенія Гоголя — *Тарасъ Бульба*, *Ревизоръ* и *Мертвые Души*. Въ первомъ поэтъ изобразилъ широкой кистью Малороссію и Запорожскую Сѣчь, всю жизнь казачества въ лучшую его эпоху, всю великолѣпную природу южной Россіи; но къ-несчастію, эта повѣсть пострадала отъ дополненій, сдѣланныхъ авторомъ въ-послѣдствіи. Стычки казаковъ подъ Дубно съ польскими войсками, описанныя въ гомерическомъ духѣ, повредили своею неумѣстностью и быстротѣ дѣйствія и единству тона. Ревизоръ — художественная картина мелкаго провинціальнаго общества и самый высокій образецъ народной комедіи, какой до сихъ поръ не существовало въ Россіи. Идея, развитіе дѣйствія, занимательность положеній, художественная полнота характеровъ, — все ставитъ эту піесу на-ряду съ величайшими образцами русской поэзіи. Но оба сочиненія уступаютъ *Мертвымъ Душамъ*. Это произведение, по глубокой идеѣ, вѣрной картинѣ нравовъ, художественному созданію характеровъ и національному значенію, принадлежитъ къ числу немногихъ великихъ созда-

ній нашей поэзіи, которыми она по справедливости можетъ гордиться.

Гоголь назвалъ Мертвыя Души—поэмой. Объ этомъ у насъ много говорили: одни видѣли въ этомъ желаніе автора поставить себя на-ряду съ Гомеромъ, другіе думали, что онъ хотѣлъ только насмѣяться надъ героическими поэмами. Но почему же, въ самомъ дѣлѣ, Мертвыя Души и не назвать поэмой! Вѣдь теоретики подъ именемъ героической поэмы разумѣли обширное эпическое сочиненіе, обильное чудесными событіями, гдѣ герой, одаренный могучимъ характеромъ, стремясь къ высокой цѣли, является въ борьбѣ съ людьми или судьбою. Вспомните содержаніе Мертвыхъ Душъ, и вы вѣрно согласитесь, что похожденія Павла Ивановича Чичикова нисколько не уступаютъ подвигамъ какого нибудь Ахилла или Готфреда.

Чичиковъ, какъ истинный герой поэмы, одушевленъ высокой цѣлью: онъ задаетъ себѣ задачу нажить состояніе. Какая современная и въ то же время вѣчная мысль! Нажить деньги, обогатиться—да это мечта всѣхъ временъ и народовъ, это пѣсня вѣчно юная, какъ Иліада! Но вѣдь въ поэмѣ, кромѣ эле-

мента общечеловѣческаго, долженъ быть и элементъ національный. Гомеръ тѣмъ и великъ, что его герои люди и въ то же время греки, а Вольтеръ оттого именно и не поэтъ, что лица его, если немножко и люди, то ужь никакъ не французы. Посмотрите же, какъ вся повѣсть Гоголя вѣетъ народнымъ духомъ!

Чичиковъ задумываетъ обогатиться, и идетъ къ этой цѣли путемъ совершенно національнымъ. Онъ опредѣляется на службу въ комиссію построенія какого-то капитальнаго казеннаго зданія, шесть лѣтъ участвуетъ въ ея трудахъ, и цѣль становится уже близкою. У Павла Ивановича, какъ и у другихъ атридовъ строительной комиссіи, является собственный домъ; онъ уже «покупаетъ сукна, какого не носила цѣлая губернія, пріобрѣтаетъ отличную пару и самъ держитъ одну возжу, заставляя пристяжную виться кольцомъ».

Но вотъ завязывается первый узелъ поэмы, первая борьба героя съ препятствіями и судьбою. На мѣсто прежняго тюфяка-начальника присланъ въ комиссію новый, чело-вѣкъ прямой и строгій, врагъ взяточни-

ковъ и неправды. Онъ требуетъ отчеты, находитъ недочеты, на каждомъ шагу недостающія суммы, и благопріобрѣтенные дома отбираютъ въ казну, а Чичикова выгоняютъ изъ службы. Обыкновенная повѣсть на этомъ бы и кончилась, но здѣсь это только узелъ поэмы. Дюжинный человѣкъ послѣ такой катастрофы потерялся бы и заглохъ съ какими нибудь грошами въ провинціальномъ болотѣ; но Чичиковъ, какъ герой поэмы, не падаетъ подъ ударомъ судьбы, а возстаетъ съ новыми силами.

Стремясь неуклонно къ своей доблестной цѣли, Павелъ Ивановичъ составляетъ новый планъ, смѣлѣе и обдуманнѣе прежняго. Онъ поступаетъ на службу въ таможенную и дѣлается неподкупнымъ чиновникомъ, бичемъ контрабандистовъ. Ревность его становится извѣстною начальству, онъ получаетъ повышеніе, ему даютъ команду для преслѣдованія контрабанды, и вотъ онъ опять vyplываетъ на своемъ челнѣ къ обогащенію. Прочно утвердись на тепломъ мѣстѣ, онъ самъ подаетъ руку контрабандистамъ: брабантскія кружева проходятъ въ огромномъ количествѣ черезъ границу подъ шкурами барановъ, — и у на-

шего героя снова полмилліона капиталу. Цѣль, кажется, достигнута! Но вотъ новый ударъ судьбы. Какъ герои Гомера поссорились за лѣпокудрую дочь жреца аполлонова, такъ и Чичиковъ побранился съ сотрудникомъ брабантскихъ кружевъ «за какую-то бабенку, свѣжую и крѣпкую, какъ ядреная рѣпа», и обругали другъ-друга поповичами. Товарищъ подаетъ на него тайный доносъ, — и Троя снова ускользаетъ: нажитое конфискуютъ, и самъ Павелъ Ивановичъ едва успѣваетъ увернуться отъ уголовного суда. Кто при такомъ страшномъ ударѣ не потерялъ бы энергіи и не отказался отъ труднаго подвига? Но здѣсь-то и раскрывается вся эпическая мощь героическаго характера, котораго желѣзная сила не слабѣетъ, а только закаляется въ борьбѣ съ препятствіями.

Дѣятельность не умираетъ въ головѣ Чичикова. Закладывая, въ качествѣ повѣреннаго, чье-то имѣніе въ опекунскій совѣтъ, онъ узнаетъ, что «по существующимъ положеніямъ нашего государства, въ славѣ которому нѣтъ равнаго, ревизскія дупи, окончивши жизненное поприще, числятся однакожъ, до подачи новой ревизской сказки, на-

нѣ съ живыми», и принимаются въ залоги. пего героя оѣняетъ вдохновеннѣйшая мль, какая только приходила въ человѣкую голову. «Эхъ я Акимъ-простота, ска-ь онъ самъ себѣ, ищу рукавицъ, а обѣ поясомъ! Да накупи я всѣхъ этихъ, ко-ые вымерли, пока еще не подавали но-тъ ревизскихъ сказокъ, приобрѣти ихъ, по-имъ, тысячу, да положимъ, опекунскій со-тъ дастъ по двѣсти рублей на душу: вотъ ъ двѣсти тысячъ капитала!» Въ какой ге-ческой поэмѣ найдете вы такую колоссаль-ю мысль! Перекрестясь, Чичиковъ присту-гъ къ исполненію своего великаго плана, и вотъ развертывается передъ нами эпи-сій рассказъ, стройный и величавый. Какъ и Гомера, возстаютъ передъ нами рус-і люди на разныхъ ступеняхъ общества, различныхъ проявленіяхъ своей жизни и гельности. Къ сожалѣнію, поэма не кон-а, и мы не знаемъ, чѣмъ разрѣшилась бы-ба нашего героя: гибнетъ ли онъ подъ-рами рока, или подобно многострадаль-у Одиссею водворяется наконецъ въ своей-ѣ, и дѣлается отцомъ семейства и ува-мымъ помѣщикомъ.

Вотъ общій планъ сочиненія. Посмотрѣ же на частности: развѣ въ нихъ нѣтъ въ условій героической поэмы? Второстепен лица, группируясь вокругъ главнаго героя служатъ достойной средою, въ которой и вертывается его великій характеръ. Неужъ Чичиковъ окруженъ хуже, чѣмъ Агамемнонъ Отчего Маниловъ, Плюшкинъ и Ноздревъ приличнѣе Патрокла, Улисса или Терсита? мы губернскаго города, куда судьба приводитъ Чичикова, не уступаютъ не только смертнымъ но даже и безсмертнымъ красавицамъ Гелены. И на Олимпѣ не поднималось такой крикъ за Париса или Гектора, какая поднялась здѣсь за Павла Ивановича, когда узнали, онъ милліонщикъ. Никогда Дидона не глумилась надъ такими хитростями для привлеченія въ свои сѣти Энея, какъ губернскія барыни для оболъщенія Чичикова; никогда Афродита и Лилейнораменная Гера не кололи другъ-друга такими булавами, какъ просто пріятная и дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ.

Пиръ въ поэмѣ Гоголя несравненно личественнѣе, чѣмъ у Гомера. Ни въ Илиадѣ ни въ Одиссеей нѣтъ такого роскошнаго прѣстольнаго пирства, какъ пиръ у полицмейстера, «с

и благодѣтеля города», откуда Чичиковъ пріѣхалъ домой въ такомъ видѣ, что лакей, снимая съ него сапоги, чуть не стащилъ съ ними на полъ и самого барина. Если Аяксъ съѣдаетъ на пирѣ цѣлый «хребетъ вола», то неужели менѣе замѣчательнъ подвигъ Собакевича, который такъ распорядился съ полицмейстерскимъ осетромъ, что оставилъ отъ него одинъ хвостъ? Въ Мертвыхъ Душахъ нѣтъ, конечно, такихъ частыхъ битвъ, какъ въ Иліадѣ или Освобожденномъ Іерусалимѣ; но чего стоить одно побоище, которое готово было разыгратъ въ домѣ Ноздрева, когда хозяинъ, вооруженный черешневымъ чубукомъ, напалъ на Чичикова съ своими мирмидонами, и только небесная помощь въ образѣ капитанъ-исправника подоспѣла къ герою, какъ нѣкогда Аполлонъ сребролукій или Аѳина-Паллада къ своимъ ахейнамъ.

Всѣ эпическіе поэты, съ Гомера до Хераскова, любили описывать бури и корабле-врушенія. Съ перваго взгляда, подумаешь, что ничего подобнаго не можетъ быть у Гоюля. Но развѣ описаніе проливнаго дождя, который встрѣтилъ Чичикова на пути отъ Манилова, и крушеніе брички отъ неосто-

рожности автомедона Селифана — уступаютъ сколько-нибудь кораблекрушеніямъ и бурямъ въ классическихъ поэмахъ? Напротивъ, крушеніе экипажа на русской дорогѣ гораздо вѣроятнѣе и опаснѣе, чѣмъ гибель кораблей на какомъ-нибудь южномъ морѣ. Хорошо было Одиссею упасть въ голубыя, прозрачныя волны; но каково же было Павлу Ивановичу, когда, при паденіи брички, онъ и руками и ногами шлепнулся въ грязь! Вѣдь сыну лаэртову нимфа даетъ покрывало, съ которымъ онъ спокойно доплываетъ къ берегу и находитъ пріютъ у царицы Ареты; а Чичиковъ въ такомъ видѣ является къ гостепріимной Коробочкѣ, что помѣщица невольно вскрикнула: «Эхъ, отецъ мой, да у тебя-то, какъ у борова, вся спина и бока въ грязи! гдѣ такъ изволилъ засалиться?»

Не менѣе бурь древніе и новые эпика любилъ описывать адъ и тѣни почившихъ. Сколько картинъ замогильной жизни видѣли мы въ поэзіи, начиная съ Данта до Байрона, начертавшаго послѣдній эпизодъ этого рода въ своемъ Каинѣ? Если въ Мертвыхъ Душахъ нѣтъ фантастическаго описанія ада, зато сошествіе Чичикова въ гражданскую

палату, для заключенія актовъ о покупкѣ мертвыхъ душъ, отличается поразительными образами, яркими красками и мрачной дѣйствительностью. Жрецъ Оемиды, который дѣлается путеводителемъ смѣлаго героя черезъ трудные переходы до залы присутствія, по словамъ самого Гоголя, напоминаетъ дантова *Виргилія*. А этотъ предсѣдатель, подобно *Зевсу-громовержцу*, продляющій и ускоряющій по своему желанію присутствіе, эти наклонившіяся надъ бумагами головы и скрипъ перьевъ, походившій на проѣздъ телѣгъ по лѣсу, заваленному изсохшими листьями, наконецъ эти таинственныя мертвыя души, ради которыхъ *Чичиковъ* является въ палату, — все напоминаетъ сошествіе древнихъ героевъ въ мрачныя предѣлы *Стикса*.

Наконецъ въ героической поэмѣ, по условіямъ теоріи, должно быть чудесное: таково въ *Энеидѣ* вмѣшательство *Эола* и *Юноны* въ судьбу сына *анхизова*, а въ *Иліадѣ* участіе боговъ *Олимпа* во всѣхъ битвахъ и событіяхъ подъ стѣнами *Трои*. И это мы находимъ въ нашей отечественной эпопеѣ. Что можетъ быть чудеснѣе этихъ мертвыхъ душъ, которыя «окончили въ нѣкоторомъ родѣ свое

земное существованіе», а между тѣмъ невидимо присутствуютъ передъ вами во всей повѣсти и служатъ главнымъ основаніемъ подвиговъ героя, важнѣйшимъ средствомъ его къ достиженію высокой цѣли обогащенія? И кому не покажется сверхъестественнымъ, что души крестьянъ, давно уже совершившихъ свое жизненное поприще, существуютъ еще за стиксовой гранью гражданской палаты, незримо живутъ въ грудяхъ бумагъ и ревизскихъ сказокъ, таинственно прикованы еще къ землѣ и не смѣютъ вкусить успокоенія въ Елисейскихъ-поляхъ, пока не прозвучитъ труба новой ревизіи и не освободитъ ихъ отъ невидимаго заключенія въ судебныхъ вертепахъ! Кто не увидитъ чудеснаго въ томъ, что эти мертвыя души продолжаютъ еще невидимо платить за себя подати и отправлять повинности, служить предметомъ сдѣлокъ и процессовъ, средствомъ обогащенія и спекуляціи, и даже вводятъ въ сомнѣніе Коробочку, не годятся ли онѣ еще на чтонибудь и въ домашнемъ хозяйствѣ! Все это въ высшей степени чудесно, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйствительно и вполне естественно, — вы-

года, какой не имѣлъ рѣшительно ни одинъ изъ древнихъ эпическихъ поэтовъ.

Мы могли бы сказать, что самыя подробности въ сочиненіи Гоголя отличаются характеромъ эпическимъ, что напримѣръ эпизодъ о капитанѣ Копѣйкинѣ не уступаетъ ни одному изъ эпизодовъ классическихъ поэмъ, а описаніе бритвенной шкатулки Чичикова даже превосходитъ изображеніе щита ахиллова; но это увлекло бы насъ далеко за предѣлы нашего краткаго очерка. Изъ сказаннаго уже нами легко можно видѣть, что планъ этой современной поэмы, характеръ и дѣятельность героя, чудесная сторона разсказа и даже подробности, — все даетъ произведенію Гоголя высокое мѣсто и обширное значеніе въ ряду художественныхъ картинъ дѣйствительной жизни, которыми такъ богата наша новая поэзія.

Гоголя упрекаютъ въ цинизмъ, въ сальности его картинъ и лицъ и въ преувеличеніи портретовъ, переходящихъ будто бы въ карикатуру. Это обвиненіе совершенно несправедливо. Всѣ лица Гоголя вѣрны природѣ, какъ лучшее зеркало, и если кажутся инымъ преувеличенными, то или отъ того;

что у насъ не привыкли пристально всматриваться въ жизнь и нравы, или потому, что страшное безобразіе лицъ до того отвратительно и противно нравственному чувству, что заставляетъ сомнѣваться въ ихъ дѣйствительномъ существованіи. Такіе обвинители Гоголя похожи на устарѣлую и некрасивую кокетку, которая, заказывая свой портретъ художнику, требуетъ сходства, но сердится, если онъ пишетъ его, не скрывая лишней морщины и не дѣлая даже граціознымъ какого-нибудь прыщика. Гоненіе подобныхъ людей на Гоголя тѣмъ сильнѣе, что въ Ревизорѣ и Мертвыхъ Душахъ нѣтъ такъ называемыхъ *добродѣтельныхъ лицъ*, въ родѣ фонвизинскихъ Правдина или Стародума и, слѣдовательно, нѣтъ ни одной ограда, за которою можно было бы спрятаться отъ стрѣлъ неумолимой сатиры. Не понимая, что единственнымъ благороднымъ лицомъ въ этихъ произведеніяхъ долженъ быть самъ читатель, если смѣхъ его чистосердеченъ; не видя, что изъ-за этой толпы нравственныхъ уродовъ всегда выставляется лицо противоположное, идеаль челоуѣка; не сознавая благороднаго негодованія поэта на тѣ отврати-

тельные картины, которыя онъ представляетъ на всеобщее позорище, — порицатели Гоголя забываютъ, что должно смывать грязь, а не покрывать ее, преслѣдовать и истреблять пороки, а не маскировать ихъ. Другое обвиненіе въ цинизмѣ и сальностяхъ также несправедливо, какъ и первое. Рѣшившись показать обществу его недостатки и болѣзни, могъ ли поэтъ не отразить въ своихъ произведеніяхъ той нечистой жизни, которая служила оригиналомъ его картинамъ? Конечно, есть предѣлы, за которые искусство не должно переступать въ подражаніи природѣ, но эти предѣлы опредѣляются законами изящнаго, а не чопорною взыскательностью мѣщански-аристократическаго вкуса, не ложною стыдливостью безстыднаго критика или поддѣльною нравственностью какого-нибудь ханжи. Гоголь поэтъ сатирическій, а стрѣлы сатиры не должны быть надушены розовымъ масломъ.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Въ этомъ краткомъ очеркѣ мы старались показать ходъ и значеніе идей, проявлявшихся въ древней и новой русской поэзіи, а потому, обращая вниманіе преимущественно на тѣ факты, въ которыхъ онѣ обнаружились, занимались эстетической оцѣнкою произведеній и говорили о языкѣ только тамъ, гдѣ необходимо было объяснить историческое значеніе поэта, безъ того непонятное. Разборъ важнѣйшихъ явленій показалъ намъ, что вся русская поэзія представляетъ двѣ совершенно отдѣльныя картины. Въ одной—видимъ неподвижно-бѣдныя идеи, грубую фантазію и медленный упадокъ умственной жизни народа, отдѣленнаго отъ образованнаго міра, въ другой — находимъ кипучую дѣятельность быстрого развитія общества,

воспрянувшего съ могучими силами послѣ вѣковаго отчужденія.

Мы говорили, что новая наша поэзія приняла съ самаго начала двоякое направленіе, возникшее изъ самой реформы Петра Великаго,—подражательное и самобытное.

Направленіе *подражательное* принесло свою пользу: оно познакомило и сблизило Россію съ идеями, пережитыми Европою во времена нашего нравственнаго бездѣйствія, вознаградило отчасти для русскаго общества то, что утратили мы, живя до Петра исключительной жизнію. Благодаря этому направленію, идеи образованныхъ народовъ, проявлявшіяся въ ихъ поэзіи, сдѣлались намъ знакомыми, и мы перешли въ короткое время многія изъ тѣхъ ступеней, по которымъ возвышалась Европа въ цѣлыя столѣтія. Оно, можно сказать, пополнило пустоту, образовавшуюся въ нашей исторіи отъ того, что Россія до XVIII вѣка не принимала участія въ общихъ судьбахъ человѣчества. Мы видѣли, какъ идеи европейской поэзіи находили у насъ отголосокъ, хотя и не всегда вѣрный, какъ посредствомъ ихъ мы болѣе и болѣе сливались и сливаемся въ обществомъ обра-

зованной Европы, какъ наша жизнь становится частицею ея жизни. Неблагопріятное для поэзіи время, въ которое совершилось пробужденіе умственной дѣятельности русскаго народа, сообщило подражательному направленію характеръ реторическій, — но мы говорили, какъ этотъ реторизмъ мало по малу изглаживался и принималъ иной видъ. Разумѣется, что до тѣхъ поръ, пока русскіе не разовьютъ вполне своего собственнаго образованія, подражательное направленіе не перестанетъ играть важной роли въ нашей поэзіи и всегда будетъ благодѣтельнымъ, принося идеи просвѣщеннаго міра. Нѣтъ ничего несправедливѣе, какъ видѣть въ подражаніи упадокъ общественной жизни. Если въ поэзіи самыхъ образованныхъ народовъ часто являлось такое направленіе, если было время, когда англійская литература находилась подъ влияніемъ французской, когда французы черпали идеи изъ поэзіи нѣмцевъ и англичанъ, — то можно ли упрекать въ подражательномъ направленіи поэзію русскую, представительницу общества, только что начинающаго входить въ кругъ образованнаго человѣчества, послѣ переворота крутаго и быстрого? Смѣш-

но ослѣпленіе ложнаго патріотизма, который воображаетъ, что при сближеніи съ чужими идеями народъ не можетъ развивать своего духа и не въ силахъ работать для челоуѣчества, забывая, что великіе европейскіе народы постоянно усвоили плоды цивилизаціи одинъ у другаго и при всемъ томъ вносили въ общую жизнь свои собственные элементы.

Направленіе *самобытно-сатирическое* еще многозначительнѣе. У насъ сатира имѣетъ иное значеніе, нежели у другихъ народовъ. Вездѣ она являлась въ такое время, когда нравы, послѣ продолжительной жизни, начинали приходить въ упадокъ, когда пороги и развратъ, овладѣвая обществомъ, грозили ему уничтоженіемъ; у насъ, напротивъ, она возникла въ эпоху возрожденія народа, который начиналъ новую, лучшую жизнь, отказываясь отъ грубыхъ нравовъ и пороковъ, угрожавшихъ ему паденіемъ и гибелью. Въ обществахъ упадающихъ сатира вооружалась всегда на большинство, которое безпрестанно увеличивалось; у насъ она сражается съ массою, которая постоянно уменьшается; тамъ сатира, нападая на современность, указывала

всегда на прошедшее, какъ на образецъ, здѣсь она враждуетъ съ настоящимъ, какъ съ остатками прошедшаго, и тѣмъ самымъ говорить о будущемъ совершенствѣ. У другихъ народовъ сатира не могла имѣть вліянія на нравы и исправить общественные недостатки, потому что нація не въ состояніи никогда воротиться къ своему прошедшему; у насъ она всегда производила благотворное дѣйствіе на нравы, отъ того что наше общество, отказываясь отъ прошедшаго, стремится къ совершенству. Мы видѣли, что главной идеею русской сатиры было уничтоженіе того осадка варварства, который оставался отъ стараго, до-петровскаго общества, и того нароста ложно-понятыхъ началъ европейской цивилизаціи, какой необходимо долженъ былъ возникнуть отъ пламенной жажды къ сближенію съ европейской жизнію. Враги образованія, мѣшавшіе истинному просвѣщенію, по грубой закоренѣлости или излишней подражательности и неправильному понятію о цивилизаціи,—вотъ элементы, съ которыми враждовала и враждуетъ у насъ сатира. Здѣсь ясно видно, что это направленіе нашей поэзіи есть продолженіе той минуты,

въ которую Петръ изрекъ первое слово образованія и сближенія съ Европою. Въ немъ, можно сказать, живетъ духъ и развивается идея великаго преобразователя. Въ сатирѣ общество нашло того двигателя, который постоянно продолжаетъ вести его по пути къ совершенству, уничтожая преграды, поставленныя вѣковымъ отчужденіемъ и невѣжествомъ.

Мы старались въ этомъ очеркѣ обозрѣть постепенный ходъ нашей сатиры, раскрыть ея идеи, обнаружить начала, которыя она стремилась сокрушить, и показать какую важную роль играла и играетъ она въ новой поэзіи. Здѣсь мы видѣли, что, являсь въ первый разъ въ лицѣ Кантемира, сатира была чужда всякой художественности и не имѣла ничего оригинальнаго въ формѣ, но выразила общественныя потребности, преслѣдуя враговъ образованія, начатаго Петромъ Великимъ. Потомъ, подъ перомъ Фонвизина и Грибоѣдова, она напала на другихъ враговъ просвѣщенія, которые бросались только на однѣ наружныя формы европейской жизни и усвоили у образованныхъ народовъ не столько плоды ихъ цивилизаціи, сколько не-

достатки и пороки. Въ поэзіи Державина она превратилась въ гимнъ императрицѣ, покровительницѣ науки и просвѣщенія, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, явилась грознымъ бичомъ на обычаи и нравы предшествовавшаго поколѣнія. Въ картинахъ Пушкина и Лермонтова сатира представила мелочь свѣтскихъ приличій, пустоту общественной жизни, холодное равнодушіе толпы, медленно двигающейся впередъ и не внимающей великому завѣту преобразователя. Наконецъ въ созданіяхъ Гоголя она явилась высоко-художественной картиною нравовъ общества, вѣрнѣйшимъ зеркаломъ его недостатковъ и потребностей, одушевленная сочувствіемъ и любовью къ народному благу. Разборъ приведенныхъ нами фактовъ показываетъ, какъ кругъ дѣятельности сатиры постепенно расширялся, охватывая важнѣйшіе интересы жизни.


Изъ всего этого видно, что наша новая поэзія выражаетъ характеръ борьбы началъ европейской жизни съ остатками стараго неподвижнаго общества. Картина многозначительная! Какое великолѣпное зрѣлище представляетъ этотъ быстрый ходъ идеи просвѣ-

щенія народа, лишеннаго надолго участія въ судьбахъ человѣчества, и борьба ея съ массою грубаго ослѣпленія, плода вѣковой неподвижности.

Само собою разумѣется, что русская поэзія до сихъ поръ не могла имѣть значенія общечеловѣческаго, выражая только внутреннюю борьбу общественныхъ элементовъ, и представляя или подражаніе литературамъ европейскимъ и отраженіе ихъ идей, или вражду образованія, заимствованнаго у тѣхъ же европейцевъ, съ началами старой жизни. Потому у насъ являлось много гениальныхъ поэтовъ, великихъ представителей нашего общества, и не могло быть ни одного писателя съ значеніемъ всемірно-историческимъ. Но чѣмъ болѣе развивается наше общество, чѣмъ болѣе, слѣдуя завѣту великаго Петра, приростаеъ оно къ Европѣ, тѣмъ скорѣе приближается часъ, когда мы, одухотворясь идеями просвѣщенія и цивилизаціи, начнемъ жизнь общечеловѣческую, и когда поэзія наша станетъ приносить богатые вклады въ общую сокровищницу искусства. И это время можетъ быть не далеко.

Итакъ, скажемъ съ гордостью, что наша

поэзія достойна занять вниманіе мыслителя, представляя въ одной картинѣ безплодіе исключительной жизни и печальныя слѣдствія отчужденія отъ другихъ народовъ, въ другой — блистательное явленіе мгновенно-воспрянувшаго духа и его развитіе подъ вліяніемъ образованія и европейской цивилизаціи; скажемъ смѣло, что отъ нашей поэзіи можно и должно ожидать великихъ явленій, потому что — говоря словами Лермонтова — «Россія вся въ будущемъ».



ПРИМѢЧАНІЯ.

1) Въ Лѣтописи XIII вѣка, по случаю измѣны князя Александра Бѣльскаго, приведены слова Гомера: «О леств! яко же Омиръ пишетъ, до обличенья сладка есть, обличена же зла есть, и кто въ ней ходитъ, конецъ золъ приметъ». Исторія Русс. Нар. Томъ III, стр. 340.

2) Басня о смерти Орварда-Одда сохранилась въ исландской сагѣ Торфея. Лѣтописецъ рассказываетъ, что вѣщуны предсказала конунгу смерть отъ его любимаго коня, Факса. Конь околѣлъ, и рыцарь, смотря на кости его, думалъ, что опасность миновала. Вдругъ изъ гнющаго черепа Факса выползла ехидна (lacerta) и смертельно ужалила въ пяту конунга.

3) У большей части народовъ первобытная исторія основана на поэтическихъ преданіяхъ. Нибуръ показалъ, что въ исторіи Титъ-Ливія есть отрывки изъ героической поэзіи первыхъ вѣковъ Рима. Niebuhr: *Römishe Geschichte*.

4) Униженіе женщины въ семейномъ быту нашемъ видно изъ многихъ пѣсенъ. Вотъ одинъ примѣръ:

Въ стары годы прежніе,
Въ тѣ времена первоначальныя,
А и сынъ на матери снопы возилъ,
Молода жена въ припряжи была.

⁸⁾ Во всей русской народной поэзіи географическія понятія отличаются крайнимъ невѣжествомъ. Въ сказкѣ *О семи Семіонахъ* одинъ изъ братьевъ осматриваетъ съ высокой башни всю землю, со всѣми государствами; *Василій Буслаевичъ* переѣзжаетъ изъ Каспійскаго моря на кораблѣ въ Іорданъ; *Илья - Муромецъ* ѣдетъ изъ Мурома въ Кіевъ черезъ грязи смоленскія. Подобныя негѣпости можно найти въ каждой сказкѣ.

⁹⁾ Въ лицѣ сказочнаго Владиміра видно явное сходство съ историческимъ Владиміромъ, который самую вѣру взялъ съ бою, а посламъ иноземнымъ говорилъ: «Руси есть веселье пити».

⁷⁾ Poezye Alexandra Chodźki. Wstęp. Chants populaires du Nord, par X. Marmier.

⁸⁾ Врученіе Благовѣрной и Христолюбивой Государынѣ, Царевнѣ Софьи Алексѣевнѣ привилегія на Академію. Древ. Россійс. Вивліое. 1773. Ч. 2.

⁹⁾ Евангельская притча о блудномъ сынѣ была самой обыкновенной темою духовныхъ представленій во всей Европѣ. Особенно много было въ XV вѣкѣ во Франціи правоучительныхъ представленій (moralités), подъ названіемъ L'Enfant prodigue. См. De la littérature du midi de l'Europe, par S. Sismondi.

¹⁰⁾ Сказанія современниковъ о Димитріи Самозванцѣ. Ч. V, стр. 67.

¹¹⁾ Посольства во Флоренцію, Испанію и Францію. Древ. Россійс. Вивліое. Ч. I. IV и V.

¹²⁾ У раскольниковъ есть пословица: *образъ божій—въ бородахъ, а подобіе—въ усахъ*. Снегиревъ: Русскіе въ своихъ пословицахъ.

¹³⁾ Подъ именемъ Хирона изображенъ, кажется, Меншиковъ, жестокий, корыстолюбивый, тщеславный, гордый въ счастьи, робкій и низкій въ бѣдствіи. Кантемиръ такъ описываетъ этого честолюбца:

Народъ весь, зная того въ государствѣ силу,
 Поутру съвозъ тѣсны передни насилу
 Къ нему кто-кто доступалъ; просьбы и поклоны
 Какъ Юпитеръ принималъ, и кивкомъ на оны
 Однимъ весь отвѣтъ давалъ....
 Вдругъ съ богатствомъ вся его слава улетѣла,
 И какъ прежде презиралъ весь свѣтъ подъ собою,
 Такъ предъ всѣми ползалъ ужъ низко, головою
 Землю бя...

Въ лицѣ Ксенона узнаемъ молодого, дерзкаго, властолюбиваго Ивана Алексѣевича Долгорукаго, который низвергнулъ Меншикова. Вотъ портретъ его:

Ксенонъ,

Коему власть и чинъ высокій достался
 Въ двадцать лѣтъ —
 Не умѣренъ въ похоти, сластолюбивъ, тщетной
 Славы рабъ, и больше тѣмъ невѣжда примѣтный;
 На ловлѣ съ младенчества воспитанъ съ псарями,
 Въкъ ничему не учась, смѣлыми словами
 И дерзкимъ лицомъ о всемъ хотѣлъ разсуждати.

Въ образѣ Менандра, который является сперва другомъ Хирона, а потомъ угодникомъ Ксенона,—ясно видѣнъ хитрый, вкрадчивый, коварный Остерманъ (Сатира V).

¹⁴⁾ Такъ, изображая въ V Сатирѣ всегдашнее недовольство челоѣка настоящимъ положеніемъ, Кантемиръ беретъ содержаніе изъ I Сатиры Горация, но предсталяетъ картину въ чертахъ, взятыхъ изъ русской жизни.

¹⁵⁾ Оды *Богъ*, *Успокоенное невѣріе*, *Истина* и всѣ подобныя піесы Державина посвящены одной идеѣ— доказательству творческаго бытія.

¹⁶⁾ Въ этихъ одахъ Державинъ большею частію подражалъ Анакреону и Горацию, которыхъ зналъ по нѣмецкимъ переводамъ. Иногда онъ бралъ изъ нихъ только

отрывки, но часто и переводилъ вполне. Оды изъ Анакреона и Сафо переведены по книгѣ: *Anacreons auserlesene Oden und die zwei noch übrigen Oden der Sappho*, von C. W. Hamler.

¹⁷⁾ Leiden des jungen Werthers. Brief vom 12 August.

¹⁸⁾ Don Juan. Canto III, strophe CI..

¹⁹⁾ Byron's Works. Ode: «We do not curse thee, Waterloo!»

²⁰⁾ Вотъ изображеніе Чайльдъ-Гарольда, его разгульной жизни и пресыщенія:

Whilome in Albion's isle there dwelt a youth,
 Who ne in virtue's ways did take delight;
 But spent his days in riot most uncouth,
 And vex'd with mirth the drowsy ear of Night.
 Ah, me! in sooth he was a shameless wight,
 Sore given to revel and ungodly glee;
 Few earthly things found favour in his sight,
 Save concubines and carnal companie,
 And flaunting wassailers of high and low degree.
 His house, his home, his heritage, his lands,
 The laughing dames in whom he did delight,
 Whose large blue eyes, fair locks, and snowy hands,
 Might shake the saintship of an anchorite,
 And long had fed his youthful appetite;
 His goblets brimm'd with every costly wine,
 And all that mote to luxury invite,
 Without a sigh he left, to cross the brine,
 And traverse Paynim shores, and pass Earth's central line.

Пушкинъ говоритъ о разочарованіи Онегина:

Рано чувства въ немъ остыли;
 Ему наскучили свѣта шумъ;
 Красавицы не долго были
 Предметъ его привычныхъ думъ;

Измѣны утомить успѣли;
 Друзья и дружба надѣли;
 Затѣмъ, что не всегда же могъ
 Beef-steaks и стразбургскій пирогъ
 Шампанской обливать бутылкой.
 Какъ Child-Harold, угрюмый, томный,
 Въ гостиныхъ появлялся онъ;
 Ни сплетни свѣта, ни бостонъ,
 Ни милый взглядъ, ни вздохъ нескромный,
 Ничто не трогало его,
 Не замѣчалъ онъ ничего.

21) Пушкинъ началъ переводить *Конрада Валленрода*, но неудачно. Лучшіе переводы его изъ Мицкевича—*Будрысъ и его сыновья* и *Воевода*, взятые изъ піесъ: *Trzech Budrysów* и *Czaty*.

22) Изученіе историческихъ драмъ Шекспира вполне отразилось у Пушкина на *Борисѣ Годуновѣ*. Вся эта піеса носитъ явные слѣды вліянія великаго англійскаго драматурга: какъ въ трагическихъ, такъ и въ комическихъ сценахъ Пушкина вѣетъ духъ шекспировскихъ хроникъ. *Корчма на литовской границѣ*, *Равнина близъ Новгорода Стверскаго*, *Площадь передъ соборомъ въ Москвѣ*, *Заключительная сцена* и многія другія мѣста трагедіи отличаются совершенно шекспировскимъ рисункомъ и колоритомъ. Стоитъ сличить избраніе на царство Годунова съ избраніемъ герцога Глостера (King Richard III, act III, scene VII), или монологъ Бориса—«Достигъ я высшей власти»—съ монологомъ Генриха V (King Henry V, act IV, scene I), чтобъ увѣриться, какъ внимательно и глубоко изучалъ нашъ поэтъ Шекспира, и какъ полезно было для него это изученіе. Мы приведемъ примѣръ, который можетъ ясно показать, до какой степени Пушкинъ подчинился вліянію великаго образца. Вотъ послѣдняя бесѣда царя Бориса съ Θεодоромъ:

ЦАРЬ.

Умираю:

Обнимемся; прощай, мой сынъ: сей-часъ
 Ты царствовать начнешь... о Боже! Боже
 Сей-часъ явлюсь передъ Тобой—и душу
 Мнѣ некогда очистить покаяньемъ.
 Но чувствую, мой сынъ, ты мнѣ дороже
 Душевнаго спасенья... такъ и быть!
 Я подданнымъ рожденъ, и умереть
 Мнѣ подданнымъ во мракѣ бѣ надлежало;
 Но я достигъ верховной власти—чѣмъ?
 Не спрашивай. Довольно: ты невиненъ,
 Ты царствовать теперь по праву станешь,
 А я за все одинъ отвѣчу Богу.
 О, милый сынъ, не обольщайся ложно,
 Не ослабляй себя ты добровольно:
 Въ дни бурные державу ты приемишь...
 Я, съ давнихъ лѣтъ въ правленіи искушенный,
 Могъ удержать смятеніе и мятежъ:
 Передо мной они дрожали въ страхъ;
 Возвысить гласъ пзмѣна не дерзала;
 Но ты молодой, неопытный властитель,
 Какъ управлять ты будешь подъ грозой,
 Түшить мятежъ, опутывать пзмѣну!
 Но Богъ велитъ!.....

Сравните этотъ отрывокъ со сценою между Генри-
 хомъ IV и сыномъ его, принцемъ Валлійскимъ (King
 Henry IV, part II, послѣдняя сцена IV акта):

KING HENRY.

Come hither, Harry, sit thou by my bed;
 And hear, J think, the very latest counsel,
 That ever J shall breathe. Heaven knows, my son,
 By what by-paths, and indirect crook'd ways,
 J met this crown; and J myself krown well,

How troublesome it sat upon my head:
 Tho thee it shall descend with better quiet,
 Better opinion, better confirmation;
 For all the soil of the achievement goes
 With me into the earth. It seem'd in me
 But as an honour snatch'd with boisterous hand;
 And J had many living, to upbraid
 My gain of it by their assistances;
 Which daily grew to quarell, and to bloodshed,
 Wounding supposet pearce: all these bold fears,
 Thou see'st with peril J have answered:
 For all my reign hath been but as a scene
 Acting that argument; and now my death
 Changes the mode: for what in me was purchas'd
 Falls upon thee in a more fairer sort....

23) Содержаніе *Каменнаго Гостя* Пушкинъ взялъ изъ комедіи Мольера *Don Juan, ou le festin de pierre*. Не знаеиъ, извѣстна ли была ему драма испанскаго поэта Габріеля Теллеса — *El Combidado de Piedra*, послужившая сюжетомъ для Мольера; но неоспоримо, что одна изъ лучшихъ сценъ Пушкина взята почти буквально у французскаго комика. Вотъ приглашеніе Командора на пиръ:

ЛЕПОРЕЛЛО.

Преславная, прекрасная статуя!
 Мой баринъ, Донъ-Жуанъ, покорно проситъ
 Пожаловать... Ей-Богу, не могу,
 Мнѣ страшно.

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Трусъ! Вотъ я тебя!...

ЛЕПОРЕЛЛО.

Позвольте;
 Мой баринъ, Донъ-Жуанъ, васъ проситъ завтра

doigt ta poltronnerie: prends garde. Le seigneur commandeur voudroit-il venir souper avec moi?

(*La statue baisse encore la tête.*)

SGANARELLE.

Je ne voudrois pas en tenir dix pistoles. Hé bien, monsieur!

D. JUAN.

Allons, sortons d'ici.

Сравнивая объ эти пьесы, нельзя не убѣдиться, что Пушкинъ, какъ художникъ, неизмѣримо выше Мольера.

24) Сюда относятся стихотворенія: *Воспоминаніе; Даръ напрасный, даръ случайный; Я пережилъ свои желанья; Безумныхъ лютъ ужасное веселье.*

25) Подражанія восточнымъ стихотворцамъ. Пьеса IX: «*И путникъ усталый на Бога ропталъ.*»

26) *Iambes et Poèmes*, par A. Barbier. Книга эта разделена на три части, и каждая состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ стихотвореній. *Iambes* представляютъ картину болѣзненнаго состоянія современной Франціи, въ *Lazare* — выражены впечатлѣнія поэта въ Англіи, а *Il Pianto* — поэтический очеркъ Италіи. Одна изъ лучшихъ пьесъ послѣдняго отдела, *Сіал*, превосходно переведена на русскій языкъ С. С. Дуровымъ, въ 1845г.



Д.В. КОКОРЕВЪ

GENERAL BOOK BINDING CO.

QUALITY CONTROL MARK

6101

